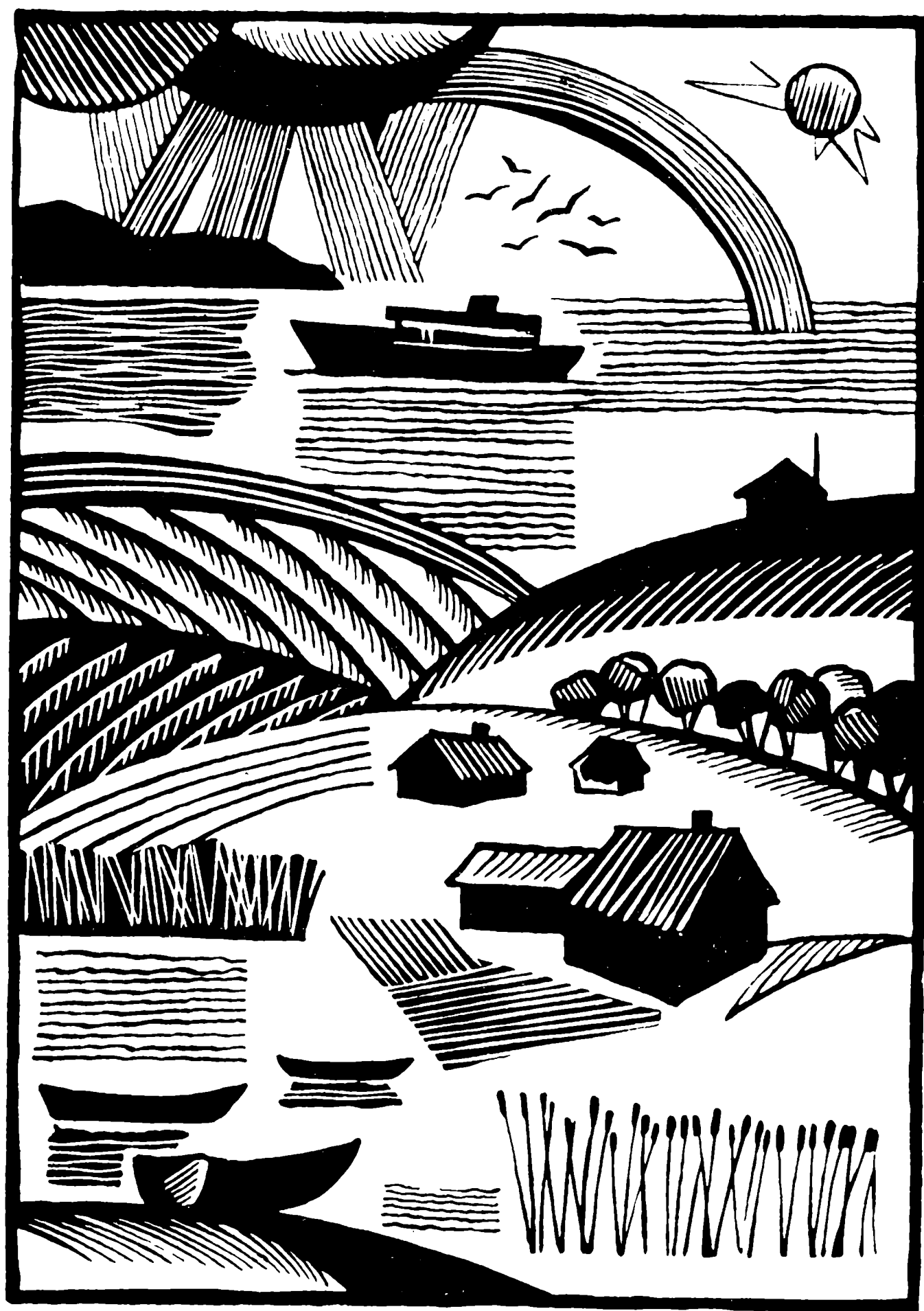


В. БАНЫКИН



БАЛАМУТ





**Виктор
Банькин**

БАЛАМУТ

**ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1971**

Баныкин В.

Б23 Баламут. Повести и рассказы. М., «Сов. Россия», 1971.

192 с.

«Баламут» — повесть об озорном колхозном парне Олеге Плугареве, обретшем свою первую и настоящую любовь, в другой повести «Дашура» — писатель рисует трудную судьбу молодой женщины-волжанки. Рассказы В. Баныкина полны любви к родной природе России и веры в счастливое будущее человека, преобразующего мир.

7—3—2
145—71

БАЛАМУТ

•

ПОВЕСТЬ



I

Веселый этот дождик обрушился внезапно. Еще даже не затуманилось солнце, и на круто изгибающуюся подковой Светлужку можно было смотреть лишь из-под ладони, а от Усольского бора, цепляясь за лохматые вершины сосен, на огороды напознала туча, роняя на землю увесистые, точно градины, капли.

— Ой, девоньки, ливень! — закричала игриво Сонька. — Айда в шалаш!

Подбирая рукой подол и без того короткого сарафана, она поскакала с резвостью брыкливой телки в сторону стоящего на бугре обветшалого шалашика.

За грудастой кургузой Сонькой понеслись к унылому двугорбому шалашу и незрелые еще девчонки, вчерашние школьницы, визгом и смехом оглашая истомленную зноем окрестность.

Одни степенные матери семейств во главе с бригадиршей теткой Полей по-прежнему не разгибали спины, тая и тая мотыгами, будто заводные. Они, наверно, думали: «Перегодим малость, и он стихнет, брызгун-баловник!»

Но ядреный этот дождь и не собирался переставать. С той же бесшабашной веселостью он зачастил пуще прежнего. И все вокруг как-то сразу обильно намокло: и огуречная и дынная ботва, и комковатая, почерневшая в междурядьях земля, и обмякшие кучки сорной травы, опротивевшей Олегу до чертиков.

— Сиганем, Лариска, под калину! — свистящим шепотом проговорил Олег, обращаясь к младшей сестре Соньки. — Слышь, Лариска. Передовые мамы тоже к шалашику затрусили.

И он, отшвырнув подальше от себя мотыгу, перемахнул через грядку. Схватил Лариску за смуглую горячую руку, повыше локтя, и чуть ли не силой потащил ее к белой, в цвету, калине, стыдливой красавице, смирнехонько стоящей на этой урожайной приречной полосе.

— Пусти! Ну, пусти же, Олег! Я не слепая, сама дорожку вижу! — незлобиво, больше для порядка, проворчала Лариска. — И так уж кое у кого языки чешутся!

Олег беззаботно хохотнул. Но Ларискину руку все же выпустил из своей широкой лапищи. Съязвил:

— Хо-хо! Им не привыкать! У клубного крыльца новые скребки приколотили... ей-ей для кумушек! Пусть и чешут свои языки!

Прибавив шагу, Лариска первой нырнула под дерево, осыпанное и белыми цветами, и дождевыми бисеринами.

Неуклюжий, угловатый Олег, намеревавшийся так же проворно, как Лариска, поднырнуть под опустившуюся чуть ли не до земли отяжелевшую ветку, задел за нее мосластым плечом, и его обдало градом дождинок и медвяно-дурманящим, с горчиночкой, запахом цветущей калины.

— Ой!— приглушенно вскрикнула Лариска — весело и боязливо в одно и то же время, прикрываясь руками от ледяных капель.

Она сидела на корточках, спиной к Олегу, слегка пригнув к земле голову. Он слышал ее учащенное дыхание, волнуящее кровь, он видел на ее бледно-загорелой, красиво изогнутой шее дрожащую капельку, и у него темнело в глазах.

Сколько томительных дней охотился Олег за этим вот счастливым и желанным мигом! И упустить его было бы непростительно.

Жмуря глаза и холодея сердцем, словно бы намереваясь броситься в морскую пучину, Олег наклонился и поцеловал Лариску в шею. Поцеловал в крошечную ямку с нежнейшим пушком, куда спускались с затылка крутые кольца волос.

— Не хватало еще этого!— вскричала — опять же приглушенно — Лариска, с необычайной ловкостью выскальзывая из Олеговых рук. С той же завидной расторопностью она повернулась к парню разгневанным лицом, заносся над ним кулаки.

И Олег покорно уронил ей в колени круглую, точно арбуз, голову. Ожесточенно забарабанила Лариска кулачками по его чугунно-коричневой спине, туго обтянутой майкой, липкой от пота и дождя.

Улыбаясь про себя блаженно, Олег в это время думал: «А под левой грудью у Лариски тоже есть махонькая пестринка? Такая же родинка, как и у Соньки? Есть или нет?»

— Хватит! Ишь развалился!— сердито, чуть не плача,

сказала тут Лариска.— Я все кулаки измолотила о его бесчувственную спину, а ему и горя мало!.. Ну, кому я говорю?

Медленно поднял голову Олег и так же медленно отстранился от Лариски — насколько позволяла позади обжигающая крапива.

Они оба тяжёло дышали. Тот и другой старались не глядеть друг на друга. И протяжный насмешливый голос, докатившийся до них от шалаша, был как нельзя кстати:

— Эй, вы, боковы отшельники! Вылезайте, дождь перестал!

— Я первой,— заторопилась вдруг Лариска, приглаживая зеленоватыми от травы пальчиками растрепанные волосы.— Языком, смотри...

Олег не дал ей договорить:

— Уж напугалась!

— Я тебя знаю!— строго повела бровью Лариска.— У тебя ветра в голове на троих хватит!

Молчал Олег, стараясь изобразить на округло-курносом лице своем отчаянье.

Мельком глянув ему в глаза — печальные и молящие, Лариска прикусила нижнюю губу. И неслышно выпорхнула из-под калины.

Снова донесся от шалаша голос — все тот же язвительно-насмешливый:

— Эй, ударница! Беги сюда: обеденная пора привалила!

Чуть погода на противоположном берегу Светлужки тревожно заржала лошадь.

«Бубенчик, поди, ускакал к стогам, а мать беспокоится», — подумал Олег, на миг-другой переносясь в луга, где в эти дни была самая горячая сенокосная пора. И перед глазами на мгновение встал тонконогий чубарый Бубенчик.

Пришлось и Олегу вылезать из одуряюще духовитой чащобы. Отряхнув с головы белые пахучие звездочки, он прокрался, пригибаясь, к оврагу, заросшему глазастой ромашкой. По его-то покатоному дну, пугая перепелок, взлетавших и справа, и слева, он и припустился бегом к речке.

Просторное небо снова было пустынным, скучно пустынным, уже слегка поблекшим к полдню. О случайной туче, цевести откуда накатившей четверть часа пазад, ничто теперь не напоминало. Лишь на траве и цветах опаляюще горели и плавились в отвесных жгучих лучах

солнца тяжелые дождинки, да с той, заречной, стороны сильнее тянуло отволглым сеном, еще не сметанным в стога. От хмельного, властного этого духа слегка кружилась голова.

Жаркие денечки круто подвалили неделю назад. Но в Светлужке все еще никто не купался. Не купались не потому, что вода в смирной речке была прохладноватой. В Светлужку в конце мая напозло много гадюк — не то с гор, не то еще откуда-то. В сонливой реке они чувствовали себя полновластными хозяевами. Плавали, будто обуглившиеся хворостины, встречь течения, ныряли, охотясь за лягушками. А потом, свернувшись кольцами, грелись на знойных песчаных отмелях.

Попробуй сунься тут в воду! Самые отпетые сорвиголовы и те не решались заходить в речку. Лишь долговязый Олег не боялся змей. Он даже изучил их повадки. Стоило гадюке поймать лягушку, как парень хватал ее, неповоротливую в это время, железными своими пальцами, хватал у самой головы и душил с остервенением, кривя брезгливо губы.

Вот и сейчас, подбежав к Светлужке, Олег проворно сбросил с себя майку и линялые техасы, такие неудобные во время работы, и даже трусы. Кого тут стесняться! Девчонки и женщины чуть ли не за километр обходят теперь речку.

Поводя ладонями по ходившей ходуном груди, Олег зорким глазом окинул всю подковообразную гладь, всю до самого противоположного берега, как бы остекленевшую и недвижимую в ленивой истоме.

Не только вода в Светлужке, но и все вокруг охвачено изнывающей полуденной дремотой: и разбежавшиеся по лугу березки с нешелохнувшейся листвой, в солнечном сиянии кажущейся не сочно-зеленой, а блекло-синей, жарко-линялой, и старый мышастый мерин на дальнем бугре, печальный и одинокий, и черная точка над мреющим горизонтом — высматривающий себе добычу коршун.

Помешкав еще миг-другой, Олег вдруг подпрыгнул упруго и бултыхнулся вниз головой в прозрачную, чуть засиненную воду, показывая небу и солнцу белые свои ягодицы.

С полчаса плавал и нырял он в свое удовольствие. Вынырнул раз, а рядом на волне покачивается змея: раскрыла пасть и шипит, поводя туда-сюда раздвоенным языком.

— У-у, ты мне, тварюга бессердечная! — фыркнул Олег

и свечкой ушел вниз, погружаясь в мутно травянистую ямину.

Выйдя на берег, он не спеша натянул трусы, глубоко вздохнул, разводя в стороны мускулистые руки. Постоял, блаженно улыбаясь, а потом с маху опустился на осклизлый чурбак, вчера им же, Олегом, выброшенный на песок.

«Приоденусь вечерком и подамся с гитарой в Заречье,— подумал он, все так же блаженно улыбаясь. Вспомнил: ребята сказывали — по вечерам Лариска под ракитой на откосе сумерничает. Не то скучает о ком-то, не то просто так... природой облагораживается. Тут Олег неожиданно для себя вздохнул. И опять подумал:— Прошел слушок, будто бы вокруг Лариски стал увиваться недавно появившийся на медпункте фельдшер. Смазливый такой усатик. А досужие свахи уж предрекают в скором времени свадьбу. Неужели в самом деле польстится Лариска на завлекательные усики этого коротконового костоправа? Уж не об усатике-ли она и скучает по вечерам?.. Слышь, на какие-то курсы укатил в город фельдшер. Мне это сейчас и на руку. В сумерках затопаю в Заречье. Сделаю вид: я наткнулся на Лариску совершенно случайно. Трагически так вздохну. Скажу: «Приветик!» Тут же сразу забренчу на гитаре... что-нибудь этакое душещипательное. Интересно, прошибу в Лариске слезу?»

Олег нажал большим пальцем правой ноги на спешившего по каким-то неотложным делам носатого жука, безжалостно вдавливая его в горячий сыпучий песок.

У огородов кто-то нараспев протянул:

— А-але-эг! Ме-эдведь ди-ка-ай!

«Сонька!» — весело хмыкнул Олег, прислушиваясь. Скажите на милость, какому парню не приятно, что в него безумно влюбилась молодая замужняя женщина? Ну, какому?

Из-за кустов тальника — редких и чахлых, окаймлявших прибрежную песчаную полосу, слышался снова дразняще-призывный голос:

— Иди а-абе-едасть! А-абе-дать, Алег!

«Не ходить?— спросил он себя.— Выдержать форс?.. Да, ну его, этот форс! Лучше пойду полопаю. Я нынче натошак отправился на бахчи, а голод, говорят, и волка из леса гонит».

Подтащив к себе ногой валявшиеся напротив техасы, Олег с трудом напялил их на себя. Шел к огородам враз-

валочку, перебросив через плечо майку и связанные за шнурки кеды.

Где-то высоко, очень высоко над головой штопором ввинчивался в режущую глаза опаляющую синь реактивный самолет. Самолета не было видно, но белая линия — его след — четко пробороздила небосвод.

«Эх и метеорит!» — позавидовал Олег летчику.

Девки и бабы лежали в тени шалаша, прикрыв платками и косынками головы. Между голопятой школьницей и солидной теткой Полей, даже на время отдыха не снявшей с ног резиновых бот, устроилась Лариса.

«Спит или притворяется?» — подумал Олег, воровато скользнув по Лариске быстрым взглядом. Она, как и другие, прикрыла лицо и шею косынкой, но Олег узнал ее сразу, едва глянул в сторону шалаша. Лариску он узнал бы даже среди ярмарочного многолюдства.

Бодрствовали лишь Сонька да щуплая глазастая тихоня Верочка — десятиклассница, дочка колхозного агронома.

Они сидели под накренившейся ивой, но не близко, а порознь друг от друга. Большое, печальное это дерево с засохшим суком ничто уже не радовало: ни наступившее тепло, ни живительные дожди, перепадавшие чуть ли не каждый день — так оно было старо. А жесткую, тусклую листву его, бросающую на землю жидковатую тень, могли расшевелить лишь порывы сильного ветра.

Приблизившись к иве — все так же лениво, вразвалочку, Олег упал плашмя, точно подкошенный, на колкую траву, горячо освещенную солнцем, упал между Сонькой и Верочкой — на одинаковом от той и другой расстоянии.

Вытянувшись во все свои сто восемьдесят семь сантиметров, он раскинул руки, прикасаясь кончиками пальцев к босым ногам и молодой, но такой уж многоопытной женщины, и совсем не защищенной от житейских невзгод девчонки.

Верочка, конечно, сразу взорвалась: захлопнув пухлую, растрепанную книгу, она корешком огрела Олега по руке. И тотчас пересела на другое место.

Недели две назад, скажем, когда Олег впервые появился в этом «малиннике», Верочка ни в коем случае не решилась бы на такой дерзкий поступок. Но за это время она попривыкла к людям и знала, что прилипчивому Олегу и не так еще достается от девчонок.

Сонька же и не помышляла отводить свою крепкую, мо-

лочной белизны ступню с голубеющими жилками от Олеговых пальцев. Она вся-то—вся так и просияла от удовольствия.

— Мы, кажись, в святые постники собираемся записываться?— с ласковой насмешливостью спросила Сонька, глядя на мокрую Олегову голову, такую сейчас черную.

— Я! Да в святые? С какой это стати?— хмуро пробурчал Олег. И, помолчав, добавил с подковырочкой: — А ты что, в секретарши небесной канцелярии поступила?

Весело хихикнув, Сонька достала откуда-то из-за спины бутылку простокваши и какие-то кульки и кулечки.

— Лопай, на, не привередничай! Тетка Поля наказала: «Последи, Сонь, чтобы все умял! А то один петух на всю бригаду завелся, да и тот какой-то заморенный!»

И Сонька, вредная, опять хихикнула.

Олег покосился на Верочку. Но тихоня эта уже снова уткнулась в свою «библию». Тогда Олег принялся осторожно шуршать бумагой, разворачивая то один, то другой кулек. Сердобольные бабы и девки насовали сюда всего понемногу: вот пара матово-желтых яичек и ломоть розового сала, а вот творожные ватрушки, пахнущие кислинкой, и кусище пирога с зеленым луком.

«Ниче-эго, жить можно на белом свете!» — уминая за обе щеки сочный пирог, размышлял Олег, дивясь милостливой доброте к нему слабого пола.

Не странно ли? Какие только шуточки не вытворял порой этот верзилище над актушинскими девицами! А они посерчают, погневаются малость и все ему простят. И ни одна не откажется пойти с парнем в клуб на танцы, стоит ему лишь поманить пальцем. Ей-ей, отходчивы сердцем здешние девчонки!

— Ты ноне тоже куда-нибудь закатаешься зоревать? Али пораньше вернешься на свою дачную верхотуру?— спросила Сонька вполголоса, чуть наклоняясь к Олегу, когда он, как бы играючи, расправившись безо всякого затруднения с даровым угощением, допивал из бутылки осекнувшуюся водой простоквашу, запрокинув назад голову. По жилистой короткой шее его ходил челноком острый кадык.

— А с чего ты взяла, будто я зоревал?— вопросом на вопрос ответил Олег, вытирая ребром руки мокрые, такие жадные до сладких поцелуев губы. Поглядел на пустую бутылку, вздохнул.

Как бы угадывая намерение Олега метнуть ненужную

уже посудину в заросли кустарника, Сонька вовремя вырвала ее из рук парня.

— Я все-о доподлинно знаю! Меня не проведешь! — пропела журчащим шепотом Сонька.

Она собиралась сказать что-то еще, но тут в Светлужке хлопбыстнулась здоровенная рыбина, поднимая столб радужных брызг, и Олег, словно ужаленный, вскочил, присел на корточки.

— Хо-хо, и штука! — весело охнул он. — Зараза щука, похоже, играет! — Послушал-послушал и, сокрушенно вздыхая, добавил, разводя руками: — С бредешком бы в полночь. Да гадюк бояться все. Никого подбить не могу. А рыбищи этой самой развелось в Светлужке!

Сонька точно в ознобе передернула плечами.

— Одни сплошные ужасты: с бредешком, да ночью!.. Никого не подобьешь, головой ручаюсь.

— Уехать мне, что ли, от вас? — не слушая Соньку, заговорил, как в бреду, Олег, уставясь тоскующими глазами на Светлужку, на бодро шагавших лошадей на той стороне, запряженных в конные грабли. — Укатить бы куда-нибудь... хоть на край света! Мотнуть на Каспий али на Белое? Или, может, на Курилы? Какие там люди: ни штормов не боятся, ни холодов, ни землетрясений! Встретил этими днями морячка с Сахалина. В отпуск к матери в Жигулевск прикатил. На сейнере там робит. Вот у них на Сахалине, — и, перебивая сам себя, заговорил скороговоркой совсем о другом: — Поймаю председателя... «Так и так, выложу, — не переведешь на сенокос... Все готов делать: и копнить, и стога метать. Не переведешь, скажу, на мужскую работу, сбегу из бабьей бригады! Сбегу, так и знай! Больше сил моих нет! Не желаю больше посмешищем быть на всю округу!»

— Ой, касатик, не пужай, — всплеснула Сонька ладошками. — Чем тебе у нас худо? Ты же как у Христа за пазухой!

И она, привстав, шаловливо дернула Олега за свисавший на крутой лоб смешной, уже подсохший хохолок.

Олег качнул головой, отстраняясь. И снова прилег на траву, уткнувшись лицом в сложенные крест-накрест руки.

Не везет ему в этом году.

Зимой, едва успел окончить в Брусянах, районном городке, курсы трактористов, как сразу же на пятнадцать

суток угодил в кутузку. Кому ни расскажи, никто не поверит!

Накануне отъезда домой в Актуши отправился Олег навестить приятеля. Шагал в приподнятом настроении, игривый мотивчик из модного кинофильма насвистывая, совсем не чуя нависшей над его головой беды.

А беда поджидала Олега неподалеку от той улицы, где жил приятель — тоже выпускник курсов.

Выйдя из тесного проулка на сине-белую сугробистую площадь, он чуть ли не носом к носу столкнулся с конопатым пацаном в полушубке нараспашку. Хилый с виду мальчишка с непонятным нормальному человеку ожесточением бил палкой лохматую кошку. Кошка не могла сбежать от мучителя — тот привязал ее за облезлый хвост веревкой к телеграфному столбу.

Возмутился Олег. Подбежал к сопливому балбесу, вырвал из его рук палку.

— Она тебе помешала? Помешала, спрашиваю?

А тот даже не испугался.

— Ничейная кошка! Чего привязался? — И, сверкая нахальными глазами, настойчиво потребовал: — Отдай мою палку!

— Я тебе отдам! — пригрозил Олег. И для острастки замахнулся увесистой дубиной. — Пшел вон, обезьяныш!

И в тот же миг кто-то сзади рванул Олега за руку, а потом сбил его с ног. Когда же Олег, преодолевая боль, поднялся из сугроба, перед ним стоял здоровенный мордастый детина в косоворотке без пояса.

— За что? — поинтересовался Олег, пальцами соскребая со щеки красную снежную кашицу.

— Ученым будешь! Попробуй в другой раз моего сынка только пальцем тронуть! — ответил детина с завидным хладнокровием.

— Живо дер он... твой сукин сын! — сплюнул Олег, собираясь идти своей дорогой.

Но отец мальчишки еще раз звезданул Олега по скуле. Тут уж Олег не стерпел и тоже ударил мужика кулаком, норовясь попасть по сопатке.

«Живодер», вероятно, уже привыкший к такого рода потасовкам, на всю площадь заголосил благим матом:

— Помогите! Папаню убивают!.. Караул!

И, как по команде, из ближайшего двора на истошный вопль пацана сбежались «свидетели»: раскосмаченная бабенка с подбитым глазом и двое прыщеватых парней.

Спустя полчаса свидетели дружно, без единой запиночки, давали показания в отделении милиции.

— Все-о доподлинно, гражданин начальник, своими глазыньками видела!— плаксиво тянула, точно причитала по дорогомую покойничку, бойкая на язык баба.— Энтот вот никому не известный бандюга — проходимец, избивал ни за что, ни про что примерного на весь курмыш хлопчика Гриню. А когда его батько, безупречный семьянин товарищ Мамочкин, выскочил за воротца... чтобы спасти Гриню от смертоубийства, изверг и ему не дал спуска!

Прыщеватые парни, оказавшиеся братьями-одногодка-ми, согласно кивали головами.

— Нелька с пунктиком... то есть мать-одиночка Рымкина описала данную баталию до точности художественно!—сказал один из них.— Ни дать, ни взять — Ильф и Петров в одном лице!

Второй братец, прокашлявшись в кулак, без колебаний подтвердил:

— Если б мы с братаном не подоспели к данному критическому моменту, то конторе «Утильсырье», где робит Мамочкин, пришлось бы два гроба заказывать! И для отца, и для сына!

С Олеговой стороны свидетелей не имелось. А так как в милиции он вел себя строптиво и непокорно, возмущенный до глубины души всей этой комедией, то и вынужден был «по независящим от него причинам» на пятнадцать суток отсрочить свой отъезд в родные Актуши.

Шли месяцы. Односельчане все реже и реже посмеивались над неудачливым «указником». В Олегову невиновность никто из них, между прочим, не верил.

Пастух Мокей, острый на язык горбун, послушав как-то раз горестную Олегову историю о его незадачливом заступничестве за бездомную кошку, ядовито протянул, цедя между пальцами свою жидкую, сосулькой, бороденку:

— Эх, и ба-аламут же ты, парень! Право слово, баламут!

Так с тех пор и приклеилась к Олегу прочно эта обидная кличка.

На весеннем севе молодой тракторист работал старательно. И, подводя итоги сева на общеколхозном собрании, председатель назвал Олега Плугарева передовиком, «отрадным кадром подрастающей смены».

А над этим самым «кадром», над разнесчастной Олевой головешкой уже нависала новая беда.

Раз как-то поздним майским вечером возвращался Олег на своем ЧТЗ с нефтебазы из Подгорной, волоча на прицепе фургон с бочками горючего. В Подгорной, ровно на грех, встретил он Кольку Балалайкина, однокашника по курсам. Ну, и раздавили дружки на двоих «пузырек».

В ночь перед поездкой на нефтебазу Олегу не пришлось и часу соснуть. А тут еще эта выпивка натошак, без закуски... И развезло парня в дороге!

Чтобы не задремать за рулем, Олег горланил песни. Горланил, какие на ум приходили: и веселые, и грустные, и даже тюремные.

«Главное, Плугарев, не моги клевать носом! — поучал себя Олег. — Ни минуточки не моги! Аховые у нас тут дороги. Ежели в овраг съерашится сам дьявол, и он, шельма, скоро не вылезет!»

Перед самым селом Олега все-таки сморил сон. И случилось то, чего он больше всего боялся: никем не управляемый трактор заехал в овраг. А тяжелый фургон, сорвавшись с прицепа, перевернулся. Одна бочка с соляркой ухнулась в болото, и ее потом еле вытащили из трясины...

Над ухом увивался, надоедливо гудя, шмель. Он-то и помог Олегу избавиться от неприятных, чего греха таить, воспоминаний.

«Таким путем и попал я, в наказание потомкам, в бештанную эту бригаду! — вздохнул Олег. Приподняв чуть голову, он махнул нехотя рукой, отгоняя от себя полосатого взъерошенного шмеля. — Уж иные каркать принялись: «Пропавший тип! Ничего-то путного из этой ходячей каланчи не получится!»

Еще раз затаенно вздохнув, Олег сорвал травинку. Повертел-повертел тонкий стебелек между пальцами и, назло Соньке, делая вид, будто он не замечает ее откровенных взглядов, пощекотал Верочке голую лодыжку.

Дернув ногой, Верочка оторвала взгляд от своей книжищи и строго-престрого посмотрела на Олега. А потом сказала, пожимая острыми плечиками:

— Удивляюсь!

— Чему же, малинка, ты удивляешься? — спросил Олег обольстительно ласково.

— Такой взрослый человек, и такой... — Верочка замялась, густо пунцовая.

— И такой глупый, да? — подсказал охотно Олег, с той же ласковостью заглядывая девочке в глаза — совершенно белые от гнева.

— Отвяжись! Ну, чего липнешь к дитю?— вступилась за Верочку Сонька.

Не обращая никакого внимания на Сонькино замечание, Олег отеческим тоном посоветовал бедной Верочке:

— Зря портишь нервишки, малинка! Побереги, они тебе еще пригодятся в жизни. А то разобьешься вдребезги, и черепки не соберем! И скажи мне, как лучшему твоему другу, над чем ты потеешь? Сочинением современного гения увлеклась или гранит науки грызешь? В академию метишь?

— Некоторым тоже... тоже не мешало бы подучиться!— пропищала Верочка, закрываясь книгой

— Хо-хо!— развеселился Олег.— Оказывается, наша Вера-несмеяна и коготки умеет показывать! Только учти, для ясности, малинка, с меня и восьмилетки предостаточно. В сфере огородно-бахчевой деятельности и эту премудрость девать некуда!

Все так же посмеиваясь добродушно, Олег вдруг с кошачьей проворностью выхватил из Верочкиных рук ее затрепанную «библию».

— А я-то думал... Ну, ну! Ну, и физики и лирики!— захохотал что есть мочи Олег, увертываясь от Верочки, кинувшейся на выручку своей книги.— Романчиком о героях в синих шинелях зачитывается наша детка!

Помучив малость девчонку, он вернул ей вконец затрепанную книжищу. И с подковыркой сказал надувшей губы Соньке:

— Смотри в оба, Сонь! Как бы Верунчик не втрескалась в твоего бравого орла... Глядишь, отобьет муженька! Не зря она книжками о милиции...

— Дурак!— выпалила, всхлипывая, Верочка.— Дурак ты дураком, баламут, и мозги наружу!

Выпалила и побежала к речке: косоплечая, тонконогая, жалкая какая-то.

Покосившись на шалаш, Сонька предостерегающе прошипела:

— И не совестно, непутевый? Девчонку до слез довел и радуешься? А ежели она тетке Поле пожалуется? Вытурят тебя и отсюда!

— Па-адумаешь!— процедил сквозь зубы Олег.— Очень вы мне все нужны! Захочу...

Олег приготовился было бросить в лицо Соньке еще какие-то хлесткие, обжигающе обидные слова, но тут

он заметил бригадиршу. И осекся, смолчал. Только губы его зло задрожали.

Могучая, дородная бригадирша, стоя спиной к старой иве, с трудом расчесывала гребенкой тяжелую свою косу, волнисто, словно лен, ниспадавшую до самого крестца.

— Приходи к нашей бане... как стемнеет! — уже совсем другим голосом прошептала Сонька, обдавая Олега жарким сиянием греховных своих глаз. И легко, ровно бесенок, вскочила на ноги.

— Много снов видели, Пелагея Сидоровна? — запела она журчаще, направляясь к бригадирше порхающей походкой. — А мы все разговорами занимались... Текущие мировые события обсуждали. И все такое прочее.

II

Олег остановился у зеркала. На него внимательно, пожалуй, даже излишне пронизательно смотрел молодой человек в белой, старательно отутюженной сорочке с закатанными выше локтя рукавами, в модных черных брюках, тоже без единой морщинки, и черных узконосых полуботинках на тонкой кожаной подошве.

«Хорош наш барбос? Еще гитару с алым бантом через плечо, и готов молодец к атаке! Один лишь маленький пунктик под сомнением: приглянется ли этот молодец Лариске? Морда, прямо скажем, подкачала!.. Не серьезная она у меня какая-то. И поэтичности ни на грош: круглая, что тебе колесо тележное, а нос так и совсем никакой критики не выдерживает! Картошка картошкой! Д-да, физиономия без намека на поэтичность души. Одна карикатурная насмешка! А тут еще, придурок, подстригся». Эх, и волосы были! Кучерявые, белесовато-дымчатые. Столько расчесок поломал о дремучие эти кудри!

Олег тряхнул головой. Дернуло ж Леньку Шиткова слух распустить, будто в военкомате набирают ребят в училища. Спорол Олег горячку — оболванился, а военком и слушать их, горячих, не захотел: «Езжайте по домам, нечего зря баклуши бить! Надо будет — призовем!»

Олег больно дернул себя за жиденький вихор и отвернулся от зеркала. Вдруг чуть ли не со страхом подумал: «Уж не втюрился ли я по уши в Лариску... как в меня Сонька? Если не в шутку это у меня... что тогда со мной будет?»

В сенях кто-то гроыхнул дверной щеколдой.

«Мать с фермы?— загадал Олег, напряженно прислушиваясь.— Схватить гитару и — в окно? А то опять заведет лекцию на моральные темы».

Свежий вечерний воздух колебал тюлевую штору, как бы дразня Олега: «А ну, чего тянешь? Окно распахнуто настужь, прыгай — и был таков!»

Но тут в сенях зазвенел, падая с лавки, железный ковш, и у Олега отлегло от сердца: посторонний кто-то.

Он вышел из горницы в заднюю половину, щелкнул выключателем. И с нескрываемой досадой крикнул, глядя в черный проем двери:

— Кого там несет?

Из темноты сеней — густой и мягкой — скрипуче проворчали:

— Разве эдак положено гостей встречать?

На пороге появился сгорбленный мужчина в сдвинутой набекрень соломенной шляпе, прикрываясь ладонью от резкого белого света стосвечевой лампочки, свисающей с потолка золотой грушей.

— Богато живут люди! Надо ж такие пузыри вешать!— теперь уж весело зачастил вошедший, обнажая крупную голову с апостольской лысиной.— Вечер добрый!

— Здравствуйте!— помедлив, неохотно уронил Олег. А про себя подумал: «И каким ветром занесло сюда вредного черта Волобуева? Чего ему еще от меня надо?»

После той, позорной для Олега, истории в конце мая не кто-нибудь другой, а вот он — Волобуев, бригадир второй полеводческой бригады, с пеной у рта требовал от председателя не только отстранения тракториста Плугарева от работы, но и незамедлительной отдачи его под суд. И вот сейчас, бесстыжая рожа, вваливается в чужой дом, как в свой собственный!

Пока Олег кипел, чертыхаясь в душе, костлявый, жилистый Волобуев не спеша повесил на крючок у двери прочерневшую от пыли и дождей шляпу, которую он носил по меньшей мере целое десятилетие. И, так же не спеша, приглаживая ладонями свалявшиеся клочья осивевших волос на висках и затылке, бодро продолжал:

— Гостей, молодой хозяин, надлежит в красный угол сажать! Не зря же наша волжская сторонushка с древних времен хлебосольством славилась! На всю матушку Рашею славилась!

— Проходите и садитесь. Разве я вам запрещаю?—

сказал Олег как можно вежливее. — Вы, наверно, к матери? Но она еще не вернулась с фермы.

Волобуев озорновато засмеялся:

— Не-эт, голубь, я не к матушке. Я персонально к твоей личности пожаловал. Во-от как!

«Этого не хватало! — пронеслось в голове у Олега. — Мне уходить подоспела пора... и долго облезлый чертяка собирается гостевать?»

Все еще не сходя с места, он посмотрел в мутноватолдыстые глаза Волобуева с редкими белесыми ресницами, пытаюсь угадать: под градусом бригадир или нет. Волобуев был человеком особенным: он всегда казался «под мухой», даже если день-другой и не выпивал.

Тем временем Волобуев прошел к столу у окна. Распахнув висевший мешком на его жидких плечах пиджак — той же неистребимой прочности, что и соломенная шляпа, он солидно расположился на стуле, положив перед собой недавно початую пачку «Беломора».

— Приземляйся! — кивком головы пригласил Волобуев Олега. — Потолкуем, как бывалые знакомые. Догадываюсь, зуб на меня имеешь, Плугарев. Но ты парень башковитый и должен уразуметь: не мог я по-другому. И ты на моем должностном положении, да, и ты, как правильной линии человек, тоже бы потребовал: отстранить от трактора Волобуева. И точка! А впрочем, не будем беречь старую болячку... Впереди у нас с тобой предстоит приятственный разговор.

Вытянув из надорванного края пачки беломорину, гость подвинул папиросы Олегу, неохотно присевшему на край табурета по ту сторону стола:

— Кури!

— Не балуюсь больше.

— Н-но? — удивился Волобуев и выпустил из ноздрей едучую струйку дыма. — А мы с твоим батюшкой, бывало, жарили! Эх, и жарили! Самосад, едрит его дышло!.. Как он, пишет тебе, голубь? Отец-то? Слушок тут прокатился: к себе в город вроде бы тебя приглашает. А?

— А чего я там не видел? — колюче спросил в свою очередь Олег. — Чахлую траву в придачу с тополями-калеками... у которых, как у человека, и головы и руки поотрубали? Или порошковое молоко в пакетиках?

Волобуев хлопнул по колену рукой.

— Вот тебе и здрасте! Столько помешалось на легкой городской жизни, а он: «чего я там не видел!»

Апостольская лысина, продолговатое, в крупных рябинах лицо Волобуева с расплюснутым носом так и замаслились, словно на голову гостя опрокинули ушат пахтанья.

— Батюшка твой, голубь... помыслить даже страховито: вознесся же человек! И уж он, государственный муж областного масштаба, и сыночка бы к тепленькому местечку пристроил... Ты уж мне не перечь! У него, Антона-то Ильича, лица шибко ответственного, в голове ума палата!

Скрипнул под Олегом табурет.

— Так уж и палата? По-вашему, получается: ежели человек «вознесся» на высокий пост, ежели он...

Волобуев замахал длинными руками:

— Перестань! Грешно, голубь, про отца родного зряшное говорить! Понимаю: мало приглядна эта жизненная трагедия, когда в семье начинаются нелады, и мужчина бросает...

— Неправда! — чуть ли не вскрикнул, багровея Олег. — Враки все это. Не он мою мать бросил, а она сама! Сама она ушла!..

Снова замахал руками гость:

— Замнем! Не нам с тобой решать эту скользкую проблему. Про твоего батюшку я заикнулся промежду прочим... думал, тебе приятственно будет.

И тут Олег увидел на столе поллитровку московской. Содержимое бутылки лучилось ослепительными искрами. Ну, и бес этот Волобуев, ну, и коварный искусситель! Когда только успел водрузить бутылку на стол?

А «бес-искусситель», потирая азартно руки, ровно пробыл он невесть сколько часов на трескучем морозе, примирительно говорил:

— Обмоем-ка, Плугарев, твое возвращение на прежнюю работу. С завтрашнего дня сядешь прочно на ЧТЗ Юркова... Уломал-таки председателя! Не буду вдаваться в подробности... чего стоило мне решение данной проблемы.

Побледнел Олег. А чтобы унять мелкую — препротивную — дрожь в руках, спрятал их под стол. Не сразу и нашелся что сказать:

— На трактор Юркова? А куда же сам Митюха?

Взяв со стола поллитровку, Волобуев встряхнул ее. Встряхнул раз, потом другой и, подняв до уровня глаз, вприщур посмотрел на свет.

— Куда Юрков-то? А он повестку получил. В военные лагеря на три месяца отправляется, — небрежно процедил

сквозь зубы Волобуев, все еще алчно любуясь легкими, светлыми пузырьками, стремительно, игриво поднимавшимися со дна бутылки вверх к горловине.

— Странно... вчера ручкался с Митюхой, и он ни словечка о лагерях, — с прежней растерянностью протянул Олег. Он верил и не верил свалившейся на него радости — такой внезапной, такой невероятной!

Опять потирая руки, Волобуев уже приказывал:

— Мечи, хозяин, на стол калачи! Для меня, замечу, луковка и черный хлеб с солью... не знаю шикарней закуси!

Пока Олег, скрывшись за перегородкой, возился на кухне, Волобуев не спеша пускал к потолку волнистые колечки дыма — одно гуще другого.

Очнулся гость от каких-то своих приятных мыслей лишь в тот миг, когда Олег поставил перед ним граненый стакан.

— А себе? Себя чего стаканом обижаешь?

— Не буду я.

Глаза у Волобуева налились болотной мутью.

— Хватит тебе баламутить: «не курю, да не пью»! — раздраженно сказал он. — Ты что — в святые записался?

Второй раз в этот день слышал Олег словечки на счет его святости. И он вскипел. Но сверлящий взгляд Волобуева выдержал с видимым спокойствием.

— Если вы не темните... если мне и вправду поутру за руль садиться, с какой же стати я буду пить? — говорил он минутой позже, двигая по столу тарелку с головастой селедкой и кое-как нарезанными кругляшами лука.

— Не желаешь? Не желаешь расплескать сию поллитровку за предстоящие свои успехи? — напирал, пыжась, Волобуев. — Брезгуешь бригадиром?

Олег отнял от тарелки руку. Сжал ее за спиной в кулак. Сжал с такой злостью, что ногти врезались в ладонь.

Гость встал.

— Вижу — не зря за тебя горой стоял перед начальством. Теперь слушай команду: в четыре ноль-ноль быть, как ракета, на бригадном дворе. С утра залог начнешь поднимать у Красного яра. Ясно?

— Ясно, — кивнул Олег. И снова подивился: когда успел Волобуев прибрать к рукам поллитровочку московской? Ведь всего секунду назад стояла она рядом с горюшкой хлеба на столе!

Вдруг Волобуев указал на стену:

— Откуда у вас взялся лихой этот дед?.. Здорово же, стервуга, на балалайке наяривает!

И пристально посмотрел на висевшую в простенке картину в узкой черной рамочке.

— Репродукция с картины Судакова П. Ф., лауреата Государственной премии,— сказал Олег. — Называется: «Партизан на отдыхе». Получил в награду за успешное окончание тракторных курсов. На обороте есть надпись, заверенная директором. Пришлепнута и печать. Показать?

Бригадир махнул рукой:

— Не надо!

Прикрыв шляпой свою апостольскую лысину, Волобуев еще раз бросил косой взгляд на бравого седобородого старика в белой косоворотке и сдвинутой набекрень мерлушковой шапке с алой лентой, рьяно наигрывающего на легкой балалаечке. И шагнул в сени.

Олег даже не пошел провожать гостя. В душе осела какая-то мутниночка, она-то и мешала ему полной мерой возрадоваться намечавшемуся повороту в его жизни.

Он не помнил, как потянулся и взял журнал с невысокой тумбочки, стоящей в переднем углу. И, не взглянув даже на его обложку, принялся листать — так просто, чтобы успокоиться, прийти в себя.

«Надо спросить Лизу, сколько она, усидчивая, проглотила разных книг за младую свою жизнь,— шутливо подумал Олег. И все листал, и листал увесистый журнал, принесенный этими днями Лизой, двоюродной сестрой, студенткой Самарского пединститута.— Такая девка дока... не иначе к старости в профессорши выкарабкается! Хотя уж и сейчас этих профессоров развелось больше, чем мужиков в поле!»

«Молодые о себе,— прочел Олег на одной из страниц.— Поколение ИКС. Интервью и письма английских тинэйджеров»... Ну, и словечко!— подивился он и посмотрел на сноску.— «Так называют в Англии подростков и молодых людей в возрасте между 13 и 20 годами».— Олег поднял голову.— А у нас как... как нашего брата называют? Шалопаями? Сосунками?.. Это так старички разные брюзжат. А ежели ты парень с мозгами, и руки у тебя до дела жадные... тогда, конечно, хвалят. Случается, и без меры захваливают... ровно ты чудо какое-то сотворил. Давай посмотрим, что же английские парни о себе говорят».

Некий Тревор Спэнсуик, 19 лет, из какого-то Мидлсбро писал:

«Скоро мне придется поехать на юг работать на стройучастке. Мне совсем не светит уезжать из дома, да и моя девушка от этого тоже, конечно, не в восторге. Но за четыре года я рассчитываю кое-что подзаработать и тогда вернусь и женюсь на ней».

Одобрительно хмыкнув, Олег перевернул страницу. Взгляд его зацепился за такие строчки:

«Я понимаю, отчего многие тинэйджеры сбиваются с пути. Они думают, что живут на краю водородной катастрофы, и хотят насладиться жизнью, пока не поздно. Я думаю, им не мешало бы более трезво взглянуть на вещи. Но многие из них не способны на это, потому что считают, будто весь мир пошел прахом».

Эти слова принадлежали Дэвиду Макмиллану, 17 лет, из Гуллы, Йоркшир. Олег перевернул еще несколько страниц и познакомился с мыслями Джона Майлза, 21 года, из Уэльса, студента Эдинбургского университета:

«Меня интересует строительство. Тут, по крайней мере, сразу видишь результат своего труда, а не копаешься в мире ничтожно малых величин, как химики или математики. Я люблю видеть то, что делаю, и стараюсь, чтобы от моей работы никому вреда не было. Меньше всего я хотел бы стать ученым-атомщиком, который тихо и мирно обдумывает, как бы вернее и эффективнее уничтожить наш мир. Я знаю, что они разглагольствуют о благе науки, но предпочту поработать для блага человечества. Не думайте, что я читаю проповедь,— просто иначе я не могу считать себя человеком».

«Тоже башковитый парень!» — Олег прищелкнул языком. Надо было бы сесть на табурет, а журнал положить на стол, но он как-то не догадывался это сделать. Вскоре он наткнулся на высказывания неизвестного юноши, не пожелавшего себя назвать, вероятно, безработного (в странном своем письме он упоминал о людской толкучке в прокуренных комнатах биржи труда: «Во всем мире нет более неуютного места, чем биржа труда в понедельник утром»). Парень с раздражением писал:

«С одной стороны нас уламывают купить сигареты такой-то марки, с другой — тот же самый идиотский ящик, телевизор, лопающиеся от пропаганды листки, именуемые газетами, обрушивают на нас кампанию по борьбе с раком легких. Кому же верить, если каждая из сторон с благородным негодованием обвиняет другую в мошенничестве?»

Да и кто станет тревожиться о раке легких, который еще то ли будет, то ли нет, когда наши правители обеспечили нам атомную войну почти со стопроцентной гарантией? А с этой войной не справится, пожалуй, даже наша добрая старушка Гражданская оборона. Ей даже не удастся собрать образчики радиоактивной пыли, чтобы продемонстрировать их на очередной всемирной выставке,— потому, что не останется такого мира, где можно было бы говорить о выставках».

«Псих!— подумал сердито Олег, захлопывая журнал.— Видно, права Сонька, которая от всего отмахивается: «Начнешь думать всерьез, говорит, пожалуй, и поседеешь раньше срока. А то и свихнешься».

Олег все еще топтался у неубранного стола, когда в дверях появилась мать — высокая, чернобровая женщина с девичьим румянцем во всю щеку.

— У тебя не правление тут заседало?— спросила она негромко, медленно стягивая большой сноровисто-мужской рукой белый платок с головы.

Лишь рука эта, неторопливо, как бы с ленцой, стягивающая с головы тугой платок, она лишь и выдавала мать. На рассвете ушла мать из дому, а вернулась вот в забродивших лиловатой гущиной сумерках — таких поздних в июне.

— Окно открой, дитятко мое недогадливое!— сказала мать, махая перед лицом скомканным платком.

«А ведь руки у меня ее... матери»,— подумал, просияв душой, Олег и, перегнувшись через стол, вначале раздвинул ситцевые полушторки с кумачовыми розами, а уж потом кулачищем толкнул в задребезжавшие створки.

На свет залетел шалый комарик.

— Ты почему нынче так поздно?— спросил Олег, прихлопнув ладонью комара.— Время-то уж много?

— За десять перевалило,— ответила, щурясь, мать.— С утра две доярки не вышли...

— А ты отдувайся за всех? Да?— Олег подошел к матери. Вихрастым мальчишкой он всегда находил утешение у матери, как бы жестоко ни обидели его на улице. Ткнувшись, бывало, опухшим от слез лицом в ее колени, он всхлипывал все тише и тише, обретая щемяще-сладостное, ни с чем не сравнимое успокоение. Это она, мать, открыла ему глаза и на красу тихой Светлужки, и на веселую приветливость березовых колков, и доброту привязчивых к человеку коровушек-буренушек, и задушевность протяжных

волжских песен. А отец... что он для Олега? Ветер в поле! Вот мать... а он ее так однажды обидел, когда она выпорола поделом. И мало еще порола, ведь он чуть дом не спалил. «Я тогда... даже грозился сбежать к отцу в город». — Тут Олег поднял голову и, глядя матери в глаза, — серые, с прожелтью, чуть не сказал: «Какая ты у меня красивая!» Сказал же он с напускной ворчливостью другое, беря из рук матери платок:

— Для всех ты добрая, а себя... когда себя беречь будешь?

— Себя? Ты что же, сынок, в старухи меня определил? — мать засмеялась. Засмеялась, правда, не весело, как обычно, а чуть устало и чуть грустно. — Ужинал?.. А зачем этот мизгирь наведывался?

— А ты откуда знаешь?

— Видела. Видела, как из калитки вором прошмыгнул... Мы с Клавой у ее двора стояли.

Не без гордости Олег сказал:

— На трактор завтра сажусь. Без Плугарева им туго пришлось.

— Ну-тко! — насмешливо протянула мать. — Ради этого ты женихом и разрядился, на ночь глядя?.. Платок-то к чему жгутом скрутил? Оставь его в покое.

— В клуб собирался, а тут лезет в дверь Волобуев, — соврал Олег. И подумал с досадой: «Эх, не удалось мне нынче серенаду Лариске пропеть».

— Ну, раз сорвался культпоход, разоблачайся. И — спать.

Повесив материн платок на спинку стула, Олег пошел в горницу «разоблачаться». На ходу бросил через плечо:

— Разбуди меня пораньше, мам. Как сама встанешь.

III

Проворно поднявшись по легкой, пружинившейся лестнице до дверцы сеновала, Олег не полез в темный проем, дышащий духовитым теплом сухого, третьегоднего сена, а посидел какое-то время на порожке, отмахиваясь от нахальной комариной гвардии.

Коровник стоял в конце огорода, теперь, без коровы, совсем никому не нужный. Олегу он дорог был лишь из-за сеновала. С мальчишеских лет, едва наступал май, он перебирался спать на сеновал. Сгоняли его отсюда белые мухи.

Коротка и светла июньская ночь. Не зря старики про нее говорят: стерегут июньскую ночку две зорьки да три птахи: коростель, соловушко и перепел. Едва успеет опуститься на землю чуткая, негустая темнота, как небо начинает уж сереть и сереть, а от реки поползет неторопливо туманная наволочь.

Внизу, у подножья лестницы, курчавилась седая от росы картофельная ботва. Ближе к плетню жались низкорослые яблоньки. Из-за яблонь расплывчатым пятном белела крыша соседского сарая, по осени покрытого свежей соломой.

Пройдет час, от силы полтора, и на востоке, сейчас зеленовато-пепельном, ознобно продрогшем, начнут ворошить угли еще теплившегося за горизонтом костра, и над дальней рощицей малиновым соком нальется узкая полоска, и ночь переломится, покатится на убыль.

Олег посмотрел на бледную, точно облезлую от позолоты звездочку, одинокую, всеми покинутую, прислушался к чуть различимому говору гармошки, плутавшей где-то в заречном перелеске, и тут вдруг схватился рукой за плечо. словно ночной жук с разлета ткнулся в плечо и, отскочив, шлепнулся на землю.

«Вот дурной, ослеп, что ли?» — качнул головой Олег.

А чуть погодя о дверцу сеновала ткнулся комок глины. Комок рассыпался в прах, лишь острая крупинка уколола Олега в щеку.

«Э, да это кто-то кидается! Неужели... Сонька притопа-ла?» — подумал он и стал спускаться с лестницы.

Слегка горбясь, чтобы не поломать яблоневых веток, Олег неслышно побежал по отсыревшей тропинке к покосившемуся плетню, отделяющему участок от приречной полосы, заросшей непролазным ежевичником. И только остановился у низкого плетня, как из-за осанистой рябины, высившейся по ту сторону ограды, кто-то шепотом позвал:

— Олег... ну, иди сюда!

Дробно застучало сердце. Она, Сонька! Осторожно перелез Олег через шаткий плетешок и, озираясь по сторонам, в два прыжка очутился у рябины.

— Я тебя ждала, ждала, — с упреком прошептала Сонька, хватая Олега за руку, точно боясь, как бы он не сбежал. — Такой выпал удачливый вечер, а ты...

— Ты ноне отгул у муженька получила? — насмешливо спросил Олег,

— Умотался под вечер на своем трескучем драндулете в район. Только днем вернется,— разгоряченная Сонька жадно прилипла к Олегу.— Ну, пойдем, родненький... Выпить хочешь?

— А у тебя есть?

— Ага. Самогоночки бутылка. Пойдем!

— Откуда зелье?

— Мой бдительный Вася у какого-то самогонщика из Вязовки реквизирует.

— Ну, и дотошный же он у тебя!— в голосе Олега добродушная насмешливость.— Не пойду я, пожалуй... Завтра на зорьке вставать надо.

С нескрываемой подозрительностью глянула Сонька Олегу в глаза. Прошептала с придыханием:

— На зорьке? И зачем это?

— Дело одно есть,— уклончиво ответил Олег.

Неожиданно совсем близко — Соньке послышалось — по ту сторону рябины, кто-то неуклюже завозился, всхрапывая.

— Ой, кто это?— всполошилась Сонька, теснее прижимаясь к Олегу.

— Уймись, дуреха,— успокоил Олег.— Витютень то... под застрехой они у нас на сеновале живут.

И тут они оба явственно расслышали глухие, дикие стоны.

— Эх, и шальной! Ночь глухая, а он разворковался.— Олег поцеловал Соньку в полыхающую щеку. Под этой густолистой рябиной было даже уютно, точно в большом шатре.— Перестань дрожать, не маленькая, чай!

Внезапно Сонька плюхнулась на тяжелую от росы траву, увлекая за собой и Олега...

Так же неслышно, озираясь вокруг, перелезал Олег через плетень, так же пригибаясь к земле, бежал он к лесенке на сеновал.

А устало развалившись на войлочной кошме, долго глядел вверх.

В щелку между старыми разошедшимися досками крыши на сеновал заглядывала любопытная звездочка: может, та, которую он видел, когда сидел на порожке в дверном проеме? Или другая? Янтарно-прозрачная, зрелая, она озорно, дерзко подмигивала, куда-то звала.

Тихо вокруг. Предутренняя дремотная стынь властно усыпила землю. Лишь изредка ее нарушала своим коротким мыканьем соседская телочка. И снова ни звука.

Некоторое время Олег еще думал о неожиданном вечернем приходе бригадира Волобуева, о завтрашней пахоте: на машине Юркова он уж маху не даст! Пусть все узнают — не пропащий Плугарев человек! Думал Олег и о матери, такой еще молодой и такой несчастной. Повздыхал, вспоминая свои сборы на несостоявшееся свидание с Лариской.

«Пора, бесшабашная головушка, кончать баловство это! До путного не доведет тебя ворованная любовь».

Олегу вспомнилось, как он уже не раз пытался развязаться с бедовой, навязчивой Сонькой, но из всего этого так ничего и не вышло...

Стали липнуть веки, все труднее и труднее приходилось их раздирать. И вместо одной любопытной звезды в щелку над головой уже заглядывали сразу три.

Он не знал — на яву ли, иль во сне вдруг защелкал отчетливо соловей. А вслед за этим звонким щелканьем над сараем пронесся страшный вопль: «У-у... ух, ты-ы!» Но ледящего душу вопля возвращавшегося с разбойничьего промысла старого филина Олег совсем уже не слышал.

IV

Новое утро пришло без солнышка — не в меру задумчивое, не в меру грустное. Не славили это утро птицы, как будто они все вымерли. Даже ветер, перепутав на лугу не скошенную еще траву — где поваляв ее волнами, где скрутив в жгуты, а где просто взъерошив, притих перед рассветом, заснул. И уж не шелохнется ни одна травинка, ни одна кашка не качнет своей пахучей головкой, ни один колоколец поднебесной голубизны не вздрогнет и не рассыплет по земле звонкую трель. Рыба — и та не играла, не ухалась в окутанной туманом Светлужке.

«Дождь, что ли, собирается? — подумал Олег, вытирая паклей вымазанные в солидоле пальцы. — Лучше пусть повременит, не портит мне настроение».

И он поглядел на небо — низкое, отволглое какое-то, из конца в конец словно бы обрызганное парным молоком.

В это время и подошел к Олегу Волобуев. Не здороваясь, не подавая руки, пробубнил, прикрывая рукой рот, из которого несло сивушным перегаром:

— Прицепляй плуг и в село таракти. К усадьбе деда Лукшина. Знаешь Лукшина?.. Обтяпаем одно дельце старому и подадимся прямиком к Красному яру.

Деда Лукшина в Актушах знал и стар и млад. Тридцать лет трудился человек в колхозе. И даже сейчас, несмотря на свои шестьдесят, все еще не выпускал из рук топора.

— А чего у Петра Ильича стряслось? — спросил Олег, собираясь заводить трактор.

— Притарахтишь, узнаешь, — отмахнулся Волобуев, закуривая. Бригадир отводил в сторону свои заплывшие моргающие глазки, когда Олег смотрел ему в продырявленное рябинами лицо. — Мне вона Зорьку запрягают, я отчаливаю. Мы с предом вскорости тоже к Лукшину пожалуем. Так что поторапливайся!

И он затопал к стоявшей в стороне, на пригорке, конюшне. Эту конюшню, сказывали, построил в первые годы коллективизации Лукшин.

«Нашу избу тоже ставил Петр Ильич», — почему-то пришло в голову Олегу.

V

В селе горланили петухи. Они вначале будто стеснялись нарушить сонную тишь призадумавшегося утра, а потом не вытерпели и, перебивая друг друга, разорались вовсю.

Но Олег не слышал нестройного петушиного хора, уверенно ведя по главной улице Актушей красавец ЧТЗ. Он весь отдался другой музыке — веселому, сильному рокоту мощного мотора. И взирал на мир из своей кабины глазами счастливца.

Ленька Шитков, товарищ по восьмилетке, пыливший навстречу на голубом новеньком мопеде, окликнул Олега, намереваясь остановиться, но тот лишь помахал приветливо рукой.

«Недосуг! — говорил его взгляд. — Разве не видишь, какого коня взнуздал?»

Где-то в глубине души, не признаваясь, правда, себе, Олег завидовал удачливому другу, слесарившему в РТС. Посмотрите-ка на него, Леньку, и мопед себе уже приобрел, и шикарным кожаном обзавелся. Теперь Ленька вольная птица: опустятся сумерки, оседлает парень быстрый, как ветер, мопед и полетел, куда ему вздумается! Нет клуба на двадцать километров вокруг, где бы не побывал Ленька. Не зря к нему липнут девчонки. Такой оперативный кавалер ни одной не наскучит!

«Ну, да ладно, Плугарев, какой толк точить себе нервы? — подумал Олег и сплюнул в открытое оконце кабины. — Лето буду вкалывать, как дьявол, а осенью... Глядишь, осенью тоже заведу себе и мопед, и кожаную куртку в придачу с водительскими перчатками. Непременно куплю такие перчатки, у которых краги чуть ли не до локтей!»

Переключая скорости, Олег чертыхнулся вслух. И уже зло принялся выговаривать себе: «Не это все главное, бесшабашная головушка! Учиться тебе надо. Ведь тебе тут век жить! Трактор, комбайн... всю передовую технику на зубок должен знать... Осенью в солдаты идти, буду проситься в танковые войска. Другие ребята и в армии учатся. А почему бы и мне... могу же и я в заочный техникум сельхозмеханизации поступить? Могу! Чем я хуже, скажем, Федьки Куприянова, который в Москву маханул... в академию имени Тимирязева? Или Пашку Емелина взять. Незаметным пацаненком в Актушах рос, а сейчас — гляди-ка ты — в Сибири дорогу строит. Недавно про Пашку в «Комсомолке» писали».

С широкой улицы, миновав сельский Совет и правление колхоза, разместившиеся под одной крышей в кирпичном вместительном здании, Олег свернул в затишный переулок.

Прогромыхав по заросшему просвирником проулку до следующего угла, Олег остановил трактор у избы деда Лукшина — такой приметной своими резными оконными карнизами и наличниками. В палисаднике, под окнами, у Петра Ильича паслись лиловатые пухлые облачка.

«Эх, и сирень! А дух от нее — даже голова может закружиться!» — подивился Олег, выпрыгивая из кабины на землю. Он хотел было подойти к палисадничку и сорвать ветку сирени, но его окликнули:

— Малый, постой-ка!

Оглянулся Олег, а перед ним сам Лукшин — крепкий, широкий в костях старик с лешачьей гривой едва тронутых изморозью волос.

— Здравствуйте, Петр Ильич! — уважительно сказал Олег, миролюбиво улыбаясь. — Вот начальство прислало... чего тут у вас робить?

— А ты... мать твоя курица... ты не знаешь разве, зачем тебя прислали? — срывающимся до шепота голосом проговорил Лукшин, едва не задыхаясь от гнева.

Потрясая кулаками, он двинулся на очумелого Олега, все еще улыбающегося — теперь растерянно и глупо.

— Петр Ильич... да что с вами? — бормотал Олег, пятясь назад. — Меня Волобуев... говорит...

Старик харкнул Олегу под ноги, отвернулся. Заметив на крыльце стоявшего напротив пятистенника любопытную молодайку с полотенцем и миской в руках, он потерянно выдохнул:

— Самоуправство это... будь свидетельницей, Малаша!

— Нашли-таки душегубца, соседushко? — охотно запела та. — А Юрков-то... слышь, Юрков-то отказался. Наотрез отказался!

Вдруг она взмахнула полотенцем и скороговоркой добавила:

— Едут. Сам с бригадиром!

Все еще ничего не понимая — решительно ничего, Олег устремил свой взгляд вдоль проулка: в эту сторону махнула полотенцем молодайка.

К ним приближалась пегая, низкорослая Зорька, запряженная в дрожки. Не успел еще Волобуев остановить кобылку, как председатель колхоза — тучный, неуклюжий с виду мужчина, с завидным проворством спрыгнул с дрожек. И крупно зашагал к гудевшему глухо трактору, словно бы не замечая стоявшего у него на дороге старика.

— Давай, Плугарев, начинай запашку огорода Лукшина, — сказал он жестко. — Загоняй трактор в этот прогал и сворачивай прямо...

Председателя перебил вынырнувший из соседнего двора молодой, заборODEVший парень в полосатой тельняшке:

— Не по закону действуешь, начальство!

Позади парня тесной кучкой сбились соседи. Олег даже не заметил, когда они здесь собрались — эти бабы и старухи с ребятишками.

— За что старика обижаешь? — опять сказал парень в тельняшке.

— Хватит базарить! — огрызнулся председатель. — Мы выполняем решение бригадного собрания. У Лукшина жена нестарая, а от работы отлынивает. Вот и постановили: отрезать половину приусадебного участка. Пусть на себя пеняют! И другим наука... Вам тоже на работе давно пора быть!

Старик Лукшин прижал к груди свои широкие трясущиеся руки.

— Да она же, Марина-то моя, в городе! — закричал

он.— В городе она второй месяц! У дочки внучонка няичит!

Отмахиваясь от старика, председатель приказал Олегу: — Начинай!

Но Олег не сдвинулся с места. Тогда председатель, проколов его остро блеснувшим взглядом, засопел сердито и сам полез в кабину трактора.

Все молча смотрели, как яростно, утробно взревев, медленно стронулась с места тяжелая машина, как она вползла в прогал между домом Лукшина и стоявшей через дорогу убогой мазанкой. Неуклюже повернувшись грудью к ветхому, пьяно вихлявшему туда-сюда плетню, ограждающему огород старика, ЧТЗ на миг замер на месте.

— Волобуев, отпусти лемеха! — выкрикнул из кабины председатель.

Бригадир рысцой бросился к трактору, поправляя съехавшую на ухо шляпу.

Сделав два круга, председатель остановил трактор.

— Иди, заканчивай, Плугарев! — зычно оранул он, перешагивая через поваленный плетень.

— Не буду я! — сказал, бледнея, Олег, скользнув взглядом по добротным глянцевито-поблескивающим сапогам председателя с приставшими к головкам комкам жирного чернозема. Под глазами у Олега проступили бисерины пота.— Как хотите, а я — наотрез!

— Садись тогда ты, Волобуев! — распорядился председатель и, ни на кого не глядя, направился к смирной Зорьке, безмятежно пощипывающей молодую травку.

Волобуев, проходя мимо Олега, прошипел:

— Я это попомню, баламут! Твоя промблема теперь решена: вовек не сидеть тебе за рулем!

Олег не разомкнул даже запекшихся губ. Он стоял сам не свой, боясь глянуть людям в глаза. Еще никогда Олег не чувствовал себя таким опустошенным, никому не нужным... Вдруг сознание его пронзила мысль: а ведь ему тут нечего больше делать! И он поплелся по проулку — сам не зная куда, спотыкаясь чуть ли не на каждом шагу.

VI

Опустившись на опрокинутую вверх дырявым днищем лодку, уже просохшую от росы, Олег притомленно вздохнул. Все тело было разбито смертельной усталостью. Как будто суток двое не сходил он с трактора.

«Вовек теперь не сидеть тебе за рулем!» — сказал ему Волобуев.

— Так уж и вовек? — усомнился Олег, молвив эти слова вслух.

«А не искупаться ли мне?» — минутой позже подумал он. И не пошевелился.

Легкий туманец дымился сейчас лишь у противоположного травянистого берега, путаясь и застревая в камышинках. В камышах же изредка по-стариковски скрипел коростель.

По-прежнему было тихо, тепло, из лугов прямо пахивало дождем — далеким и смирным. Казалось, Светлужка все еще никак не очнется от ночной дремы: у песчаного берега ни волны, ни всплеска.

Одних лишь неумных стрижей не смущало это глухое предгрозовое утро. Стремительно, азартно носились они в погоне за мошкаррой, едва не касаясь снулой воды острыми концами упругих крыльев.

Глядя пустыми глазами на серую, тусклую гладь, отливающую сининой, Олег машинально общипывал небольшую, с детский кулачок, корзиночку подсолнуха, неизвестно как попавшую ему в руки.

Отщипнет один солнечный лепесток и бросит. Отщипнет другой — и тоже бросит... Можно было подумать, что на холодном бесцветном песке у ног Олега кто-то нечаянно рассыпал апельсиновые дольки. Но Олег ничего не видел: ни этих легчайших лепестков, ни азартных стрижей, ни курчавого туманца, воровато жавшегося к противоположному берегу. Перед его глазами стоял разгневанным лешим старый Лукшин... Откуда Олегу было сейчас знать, что всякий раз, стоит ему лишь на минуту вспомнить нынешнее утро, утро его радужных, разбитых вдребезги надежд, как перед его взором непременно возникнет, точно живой, крепкий еще с виду, но такой беспомощный в своем горе старик...

Вёрхом, по-над самой кручей, не спеша шагали девчонки. Одна из них, востроглазая, заметив сидевшего на лодке Олега, бойко запела:

Ой, подруга милая,
Горело небо синее.
Горело небо, таяло,
Любовь страдать заставила.

И тотчас — едва она кончила — припевку подхватила другая:

Из-за лесу, из-за сосен
Поддувало холодком.
Не твою ли, милый, совесть,
Относило ветерком?

— Ладно разоряться-то! Что вы, баламута не признали? Поберегите голоса до вечера! — усмехнулась третья девчонка. — Жалко, нет у нас такого обычая... читала я в одной книге. В Атлантическом океане на островах каких-то — уж не помню на каких — жених перед венцом должен непременно простоять всю ноченьку напролет на одной ноге. Да вы не хохочите, это правда! Всю ночь жених должен простоять на одной ноге «на стене влюбленных». У самого что ни на есть обрыва над океаном. Одно неосторожное движение — и он, сердечный, вдребезги разобьется о подводные скалы.

— А помогает, Анютка, обычай-то этот? Невестам островным? — уже издали спросила со смехом одна из подруг. И, не дожидаясь ответа, запела отчаянно весело:

Брошу розу под березу,
Подберите кто-нибудь.
От меня милой уходит,
Я скажу: «Счастливый путь!»

Зря старались проказливые девчонки — не повернул Олег головы, не посмотрел им, шустрым, вслед. Он даже не сразу оглянулся, когда час спустя его позвали с кручи:

— Э-эй, Олег!.. Ты оглох, Плугарь?

Над обрывом маячил Ленька Шитков, ухватом расставив ноги. И все так же требовательно горланил, суматошно махая замасленным беретиком:

— Оле-эг! Сюда... бузуй немедленно сюда!

— А у тебя чего там? — с удручающим равнодушием спросил Олег, все еще не думая вставать.

— Давай, давай! — покрикивал Ленька. — Мне с тобой некогда почесухой заниматься!

До пологой, змеившейся в гору тропинки было не так уж далеко, но Олег предпочел карабкаться вверх по осыпающейся под ногами круче.

Ленька теперь молча наблюдал за упрямым парнем, отирая рукавом спецовки острое, шильцем лицо — безбровое, по-детски розовеющее.

— Ты чего тут отираешься? Рыбу пугаешь? — спросил запыхавшийся Олег, вылезая на крутояр.

Усмехаясь, скверно так усмехаясь, Ленька съязвил, развязно хлопая Олега по плечу:

— Ишь, как упарился. Совсем, видно, обезножил конь от сладких Сонькиных объятий!

Олег, свирепея вдруг, схватил пошатнувшегося Леньку за полурасстегнутый ворот спецовки какого-то землистого цвета.

— Вякни у меня еще!

— Пусти, сатана!.. Уж и пошутить нельзя!

Едва Олег отпустил струхнувшего Леньку, как тот бросился заводить свой щеголеватый красавец мопед.

— Приземляйся, старик! — отходчиво сказал он, не оглядываясь. — В огородную бригаду махнем сейчас.

— Я там ничего не забыл, — буркнул Олег. — Ты меня только за этим и звал?

— Телефонogramму из района приняли: ураган с ливнем ожидается. — Ленька нажал ногой на гекстартер, и мопед его заурчал, содрогаясь. — Всех на сенокос... чтоб без промедленья!

Но Олег уже не слушал Леньку. Рискуя свихнуть шею, он бросился с крутояра вниз, увлекая за собой лавины чистого сыпучего песка и комья сухой глины, похожие на золотые слитки.

К Светлужке — по-прежнему задумчиво тишайшей — он подбежал в одних трусах, держа в левой руке тугим узлом связанное бельешко.

«Я их всех опережу, всех в два счета... и Леньку-задавалу на побегушках, и всю эту бабью бригаду», — с мальчишеским бахвальством подумал Олег, бросаясь в теплую воду.

И тут неожиданно вынырнуло из-за туч солнце — неяркое, расплывчатое, в дымке. Всего на миг вспыхнули несмело макушки деревьев на той стороне и тотчас снова потускнели. Но Олег ничего этого не видел. Он плыл и плыл на правом боку наперерез течению, держа в левой — вытянутой — руке узелок с бельем.

VII

Ему повезло: появился он на лугу в тот самый момент, когда кузнец дядя Кирилл только что принялся закладывать стог.

Без поджарого, невзрачного с виду кузнеца с большими, чуть ли не во всю спину лопатками, славившегося смека-

листой головой и ухватистыми руками, не обходился ни один сенокос. Сметанные сухопарым мужиком высоченные стога не боялись ни проливных дождей, ни ураганных ветров.

Вот к дяде Кириллу и бросился с ходу Олег:

— Подавальщики нужны?

Опуская к ногам вилы, тот не сразу повернул в сторону парня голову, обмотанную синей майкой, точно чалмой. На кирпично-буром скуластом лице кузнеца с белесым задиристым вихром, вылезшим на лоб рогулькой из-под захватанной майки, не дрогнул ни один мускул.

Но Олегу достаточно было и ободряющего взгляда дяди Кирилла. Весело посвистывая, он побежал к жилому вагончику за вилами.

Снова показалось солнце, вырвавшись из плена облаков. Блекло-лиловатые, оранжево-перламутровые, недавно старательно скрывавшие от глаз восточную часть небосклона, облака эти вдруг стали расползаться в разные стороны рваными лоскутами. И обжигающе-дымные лучи солнца в обнимку с налетевшим порывисто ветром — влажным и в то же время душным, пронеслись по лугам галопом, золотя и вороша валки подсохшего сена. А пугливые осинки ветер заставил поклониться земле. Застигнутую врасплох перепелку, вспорхнувшую с облепленного колючим татарником бугра, он безжалостно бросил под ноги Олегу.

Чубарый, стройный Бубенчик, танцевавший возле матки, исправно тащивший в паре с буланым мерином стрекочущую косилку, вдруг понесся стремглав с жалобным ржанием в сторону леса.

— Бубенчик, Бубенчик... эко сучье вымя! — заорал ездовой, приподнимая с пружинистого сиденья косилки пухлый бабий зад. И вытянул хворостиной тревожно заржавшую кобылку. — А ну, шагай! — И опять выругавшись — на этот раз забористее прежнего, добавил ворчливо: — Развели мне тут детские ясли!

С какой-то девчонки-разини ветер сорвал алую косынку. Высоко взмыв, косынка запарила над лугами недоброй, огненной птицей.

«Э-э, враки одни... насчет ливня в придачу с ураганом, — усмехнулся презрительно Олег, выбирая себе ви-лы. — День, похоже, разгуляется».

Но тотчас, глянув на запад, в сторону Жигулей, прикусил губу.

Из-за меловых, как бы снежных, отрогов, меркнувших прямо-таки на глазах, медленно, с натугой, выплывала, клубясь, устрашающе черная туча.

Миг-другой стоял Олег остолбенело, не в силах оторвать взгляда от клубившейся черной массы. Можно было подумать: там, за горой, разбушевался адский котел с кипящей смолой. Переливаясь через край, горячая смола потекла теперь по молочно-белому склону хребта.

— Ф-фу, ты, ч-черт! — сплюнул вдруг Олег и, схватив вилы — которые полегче, бросился назад, к дяде Кириллу. Он так спешил, что даже не оглянулся на повизгивающую поросенком полуторку, буксовавшую на песчаном взлобке.

Из кузова машины, не дожидаясь, когда она подкатит к опрятно-чистенькому вагончику, посыпались, что твой горох из мешка, девки и бабы.

Чуть ли не первой на землю спрыгнула Сонька. Она замахала Олегу рукой, но заметив, что он и не смотрит в ее сторону, бросила парню, молча жавшемуся к ней всю дорогу:

— А ну, кавалер, кто кого обскачет!

И понеслась, понеслась, словно на крыльях, к ладному вагончику, розовеющему новыми тесинами.

Приземистый, коротконогий парень с блестяще карими, нахальными глазами, охотно потрусил вслед за приткой Сонькой, все время пытаюсь хватануть ее то за руку, то за плечо, но она ловко увертывалась.

Они подлетели к дяде Кириллу и Олегу, оба разгоряченные, с искрящимися неподдельным весельем глазами на зарумянившихся лицах, самую малость так окрапленных светлыми росинками.

Кузнец лишь покосился на Соньку и нахально-лупоглазого малого, а Олег, неприятно пораженный азартной игрой, затейной взбалмошной бабенкой, проворчал угрюмо:

— Нашли тоже место... кобениться!

Сонька же, ни капельки не смущаясь, преспокойно, даже с превосходством, выдержала сердитый Олегов взгляд.

— Касатик, тебе еще рано записываться в свекры! — с невинной улыбочкой пропела она.

А остроглазый малый, стягивая через голову гимнастерку, так ладно сидевшую на нем, сказал незлобиво, обнажая в добродушной улыбке два ряда зубов — отменно крепких, один к одному:

— Принимай, Кирилл Силаич, пополнение!

«Ба-а, да это ж Тишка, племян волобуевский! — ахнул Олег, исподтишка следя за коренастым, белотелым парнем, еще не успевшим загореть. — Где только Сонька подцепила этого пройдоху?»

Еще по осени, возвратясь из армии, Тишка сразу же пристроился в райцентре кладовщиком в сельпо. Мать его похвалялась соседкам, вытирая уголком головного платка синюшные губы:

— А он, Тиша-то мой, удачливый! Всю действительную просидел в продуктовом складе... как сыр в масле купался, и теперь тож... не пропадет!

«Такой и в огне не сгорит, и в воде не утонет, — опять подумал Олег — теперь уж с веселой усмешливостью. — Он из малости — самой пустяковой, и то выгоду извлечет. Даже вон солдатская гимнастерка и то на Тишку работает!»

Тем временем Тишка, азартно поплевав на ладони, схватился за вилы. И настойчиво повторил с видом эдакого прилежного работяги:

— Силаич, приказывай, какие нам занимать позиции! Олег со скрытой издевкой в голосе сказал:

— Не знаю, как ты, дядя Кирилл, а я нашего Тишку не сразу признал... раздобрел знатно на сладких сельповских харчах!

И — уже Тишке:

— А сюда чего пожаловал? Или из кладовщиков турнули под изящное место?

Все так же весело скалясь, хитрущий Тишка в тон Олегу ответил:

— За что же меня турнут, ежели я передовик ударного труда? А в Актуши в отпуск... взял отпуск без сохранения содержания. Родному колхозу решил подмогнуть!

— Хо-хо! Гляди-ка ты! — воскликнул Олег. — Ну, и Тимофей... ни дать, ни взять — положительный герой советской литературы!

Утапывая заложенный основательно стог, кузнец, не произнесший за все это время ни слова, наконец-то скупобросил, покосившись на Соньку:

— Залазь! Укладывать будешь!

И спрыгнул на землю.

Опираясь на грабли, Сонька проворно, без посторонней помощи взобралась на стог.

Вспоминая, как прошлым летом дядя Кирилл прогнал

со стога одну нерасторопную деваху, Олег, смягчившись чуточку, полунасмешливо, полунаставительно проговорил:

— Не ленись, касатка! Следи в оба... пласт на пласт чтоб находил, а середку, само собой, набивай и набивай до отказа!

Пальчиками взявшись за надувшийся колоколом сарафан с голубенькими василечками и оранжевыми маками по клюквенному полю, Сонька дурашливо поклонилась Олегу:

— Спасибо, соколик, за науку! Чай, как-нибудь... глядишь, и справимся!

Даже дядя Кирилл, смутившись, отвернулся. А Соньке хоть бы что! Ловя на себе блудливый взгляд Тишки, она, как ни в чем не бывало, повелительно прикрикнула:

— Не дремать, миленьки! Веселей подавайте навильники! Люблю веселых да азартных! Я сама веселая до последней сознательности!

Задетый за живое, Олег решил отличиться перед бедовой бабенкой, хотя в душе и клял себя за это на чем свет стоит. Он первым взметнул на стог кудлато-головастый навильник сена. Ну, ей-ей, чуть ли не полвоза было в этой колюче-душистой увесистой охапке!

С визгом отпрянула Сонька от края стога. И уж придя в себя, крикнула с задорцем:

— Эй, барбосище! Насмерть меня придавить хочешь?

В этот миг ее и в самом деле чуть не накрыл с головой новый навильник, сброшенный на стог кузнецом. А пока Сонька, легко, орудуя граблями, молча укладывала пласты сена, подоспел и Тишка. И тут колючая на язык Сонька не сдержалась, подковырнула парня:

— А ты, родимый, видать, первым на службе был... по части хлеба?

Олег даже пожалел племянничка Волобуева, готового, казалось, провалиться сквозь землю. Гася постепенно эту ненужную жалость, он с неприязнью подумал, скидывая над головой очередную охапку: «Весь, видать, в дядю... хитрющий».

Но Тишка вскоре втянулся в работу. И уж ни в ловкости, ни в силе не уступал, пожалуй, самому дяде Кириллу. Теперь Сонька все чаще и чаще похваливала его, лупоглазого, снова заронив в Олегово сердце ревность.

А вокруг уже все стихло. Надолго, думалось, наступил в природе прочный, надежный покой. Краешек угольно-черной тучи, недавно так всех испугавший, зацепившись

за острый зубец мелового хребта, беспомощно повис, обмякнув, совсем утратив свое устрашающее величие.

К полдню, вырвавшись на простор, солнце прогнало за горизонт обветшавшие клочья облачков и сейчас лучисто сияло на не запятнанном ничем небе.

Такое синее до рези в глазах небо Олег видел лишь однажды в детстве. Ему было тогда лет шесть, не больше. Вдруг приехал откуда-то отец, пропадавший чуть ли не с осени. Он ворвался во двор радостно-возбужденный, таща на плече преогромный чемоданище с подарками и гостинцами.

Но Олег с матерью обрадовались не тяжелому чемодану, а самому отцу, бросившись наперегонки ему навстречу. И отец, поставив свою ношу посреди двора, одной рукой обнял мать, а другой подхватил Олега. И поднял его высоко-высоко к небу.

«Лишь тогда-то, в те недолгие летние деньки, отец и был со мной и матерью искренним и добрым», — подумал Олег и чуть не проколол нечаянно вилами пузатую ящерицу, мирно дремавшую на сухом валке сена, робко пахнущем завядшими цветами. — Экая растяпа, — пожурил он ящерку, успевшую уже куда-то улизнуть. И перед тем как вновь вскинуть над головой ошетилившуюся сухими травинками охапку, Олег забеспокоился вдруг, забывая и свое детство и зазевавшуюся ящерицу: — Неужели Лариска так-таки не появилась в лугах?.. Не заболела ли она?»

И он — в который уж раз за это переменчивое утро — обшарил бойким взглядом привольную эту низину вдоль Светлужки с редкими — кое-где — холмиками. Каждое лето рождается здесь густущий, по пояс, отменный пырей. Да вот беда: не всегда вовремя успевают скосить и сметать его в стога.

Конных грабель и в эти дни не хватало, и валки приходилось сгребать вручную. Свежими цветами пестрели там и сям по луговине бабы и девки с граблями. Лишь возле стогов мельтешило по три-четыре человека. И как ни приглядывался Олег к цветастым косынкам и кофтам, а Лариску так и не заметил.

— А-алег! Почему продаешь разиню? — окликнула его пройдохистая Сонька (с Тишкой заигрывать заигрывала, а Олега из виду не выпускала!).

Вздрогнул Олег. И с натугой вскидывая навильник, показавшийся ему сейчас уж каким тяжелым, плюнул в

сторону: «Исповесничалась вкопец Сонька! Если у меня на глазах льнет к Тишке, то уж за глаза... Отлепиться бы мне от нее. Самый подходящий момент».

Еле дотащил он до высокого уже стога эту невмочь увесистую охапку сена. Сбросив ее под ноги Соньке, чуть ли не касавшейся раскосмаченной головой неистового солнца, Олег отер тыльной стороной дрожащей руки саднившее лицо. И вздохнул шумно, как загнанная лошадь.

Середка дня — душная, истомная пора. От едучего пота щипало глаза. Одолевали и слепни — один крупнее другого.

Одна сейчас отрада — выкупаться. Нестроитивая Светлужка — праздничная, улыбчивая — ласково льнула к пологому бережку, окаймленному жарким песочком, маня и дразня.

Правда, ну как можно отказать себе в удовольствии окунуться с головой в освежающе прохладной, прозрачной воде, когда речушка — вот она, под боком?

И Олег все ждал и ждал от молчаливого кузнеца, равнодушного, мнилось, и к одуряющей духоте, и к жалящим нещадно слепням-злыдням, ждал одного лишь кивка: «А ну, ребята, рысью к Светлужке!» Но бесчувственный Кирилл, видать, и в мыслях не держал такого намерения. А когда вконец вымотавшийся Олег сбросил на крутой верх стога эту тяжеленную охапку, кузнец, не дав ему отдышаться, озабоченно распорядился:

— Плугарев, ну-ка, слетай в колок за переметками. Топор у меня в мешке.

— Вот тебе и купанье! — ворчал досадливо Олег, вяло шагая по высокой траве к березовому колку.

Чуть левее колка, на вырубке, застыло в истоме лиловато-фуксинное озерко.

Шел и думал:

«Иван-чай цветет. Много нынче меду будет!.. Он, Кирилл трехжилый, того и гляди отмочит: начнет без передыху второй стог закладывать. Торопится: до грозы сено сметать. А ее, грозы, и в помине нет! Похоже, правленцы утку пустили... чтоб мобилизнуть на сеноуборку. Прошлую зиму ой-ей как трудно с кормами было... У матери от переживаний за своих красавок буренок глаза даже ввалились».

Олег сорвал полыхающий огнем мак и увидел Лариску.

Она стояла у тонкой березы, росшей на отлете, в сторо-

не от своих сестриц, сбившихся в тесный полукруг. Вытянувшись в струнку, как и молодое деревцо, Лариска с кем-то разговаривала. Тут же, шагах в двух от девушки, лежали в пестротравье ее грабли.

У Олега ноги чуть ли не отнялись от радости, когда он увидел Лариску. Первым его желанием было — подкрасться к ней неслышно, крепко закрыть ладонями ее глаза и чужим — загробным — голосом прошептать: «Угадай, кто я!» Но Олега не слушались ноги, и он, распугав кузнечиков, присел за куст бузины. То ли от напряженного внимания, то ли от радостного возбуждения (такая неожиданно-негаданная встреча!), а может, и от того и от другого, у него даже спекшиеся губы полуоткрылись, а на правом виске набухла синеватенькая жилка...

— Трусилка! — говорила тем временем Лариска. — Не шевелись уж, а то снова шлепнешься. И не шипи, я все равно не испугалась.

Между пронизанной насквозь солнечными лучами листвой бузины, как бы занявшейся зеленым пламенем, Олег отыскал крошечный глазок. В этот глазок он и смотрел на Лариску и сидевшего на ветке березы неуклюжего взъерошенного птенца, вероятно, еще не научившегося как следует летать.

— А вот, кажись, и мамка наша... Волнуется, беспокоится о тебе, неслухе. Да сиди ты, сиди, уродливая моя смешинка! Она сейчас подлетит. А я уйду. — Лариска засмеялась и, подхватив с земли свои грабельки, отбежала чуть ли не к кусту бузины, за которым схоронился Олег.

Теперь Лариска стояла лицом к Олегу. И он даже дышать перестал, боясь, как бы девчонка не обнаружила его, сидевшего на корточках в зарослях разных там кашек, васильков, кукушкиных слезок и бог знает еще каких луговых цветов, истекавших слатымым ароматом горячего земляничного варенья.

Отведя в сторону мешающую ему ветку, Олег лишь глазам дал волю: смотрел, и смотрел, и все никак не мог наглядеться на стоявшую неподалеку от него по колено в цветах девушку. Спроси его через полчаса: в каком была Лариска платье, повязана ли была ее голова косынкой или нет, он, Олег, ответил бы, растерянно пожимая плечами: «Не знаю... я... я не об этом думал». Правда, ему не до этого было! Он глядел сейчас на Лариску и с тревожным недоумением спрашивал себя: неужели перед ним была та самая девушка, с которой он еще вчера бок о бок

копался на осточертевших огородных грядках, бежал от дождя вместе с ней к тихой калине, потом сидел с ней же под гостеприимным деревом, и даже... да, да!.. и даже поцеловал ее в шею? Неужели все это было наяву, а не во сне?

А Лариска, не подозревая о том, что за ней подглядывают, все никак не могла сорваться с места. Взгляд ее, как бы озаренный внутренним, колдовским светом — ясный, смеющийся, в то же время по-детски застенчивый и любопытный, по-прежнему был устремлен в сторону березки.

Тут и Олег тоже загляделся на трясогузку, опустившуюся на ветку рядом со своим найденышем, обрадованно затрепетавшим дымчатыми крылышками. А когда поднялся Олег на ноги, огляделся вокруг — ни Лариски, ни трясогузки с детенышем!

«Прозевал!» — сокрушенно вздохнул Олег.

Уж не горела веселым зеленым пламенем бузина, потускнела и красавица березка, недавно еще слепившая своей первозданной белизной. Померкли и цветы-цветики.

Глянул Олег на небо и присвистнул. Почти через весь небосвод распростерлась свинцово-сизая пелена. Зловещая, не предвещающая ничего хорошего, она-то и затмила солнце. Правда, светило чуть проступало сквозь серую грязную муть, проступало маслянисто-расплывчатым блинцом. Но через миг-другой и масляный этот блин совсем пропал: чернильной гущиной наливалась распростертая над землей страшная лавина, уже касаясь своим концом выплывающей из-за гор еще более страшной черной тучи.

Выхватив из-за пояса легкий Кириллов топорик, Олег крупно побежал к настороженно притихшему колку.

VIII

Едва успели прижать принесенными Олегом переметками вершину стога — молодцевато-осанистого, словно бы старательно причесанного, как в мглисто-черной, бурлящей вышине что-то раскатисто треснуло, и над землей повисли вниз тормашками сразу три уродливо-ветвистых дерева. Еще не успели эти огненные деревья кануть в Светлужке, а уж небо снова сотрясли новые раскаты. И тотчас на землю обрушился шквалистый ливень.

— Ой, мамынька моя родная! — завопила дурным голосом Сонька и, упав лицом в примятую траву, засучила оголенными выше колен мертвенно-белыми ногами.

К Соньке подлетел коршуном Тишка и, подхватив ее, поставил на ноги.

— Не дури! Чего паникуешь? — орал он во всю глотку. Похоже было, Тишка хорохорился лишь для храбрости, сам же он перепугался не меньше Соньки. — Понеслись, залетка, к жилому вагончику... Самая пора местечко выгодное там захватить!

К желанному тому вагону, занимавшемуся чуть ли не каждую минуту жгучим малиновым пламенем, уже бежали со всех сторон люди, впопыхах побросав где попало вилы и грабли.

Всхрапывая, бились в упряжке мокрые, отощавшие лошади, матерились на чем свет стоит ездовые. Они никак не могли распрячь осатаневших своих коняг.

А по опустевшему лугу носился неприкаянным бесенком Бубенчик. Перепуганный насмерть жеребенок теперь даже не ржал. Раз он едва не сшиб с ног кузнеца и Олега: они одни не бросились сломя голову к вагончику, а медленно и тяжело шлепали по хлюпающей воде.

«Успела Лариска до ливня спрятаться в теплушку? Или ее тоже прихватил дождь? — думал Олег. — Только бы не заробела... Пусть себе бабахает гром, пусть ярятся молнии, а ты, Ларис, не трусь! Не трусь, и все тут!»

То спереди, то сзади ломались в выси молнии и отвесно, раскаленными добела пиками, вонзались, чудилось, где-то рядом.

Лишь во время слепящих вспышек можно было увидеть на долю секунды тугие, секущие плети дождя, беспощадно стегавшие виноватую в чем-то землю.

И Олег, и дядя Кирилл промокли до последней нитки. Неизвестно как молчун кузнец, а вот Олег чувствовал себя в этом грохочущем аду просто отлично. Отпала всякая нужда купаться: холодный ливень освежил, вернул силы, и сейчас Олег охотно взялся бы снова за вилы.

— А стожок мы вывершили всей округе на загляденье! Верно, дядя Кирилл? — сказал Олег. Ему наскучило идти молча.

Кузнец и не подумал отвечать.

— Если б не этот шальной дождище, мы после обеда и второй бы стог взгромоздили, — продолжал Олег. — Взгромоздили бы, и «ох» не промолвили! Назло разным Волобу...

Над лугами прокатился самый оглушительный небесный залп. Сонька потом уверяла, будто вагончик, в кото-

ром люди сидели не живые и не мертвые, что есть силы трянуло!

Во время утробно-раскатистого грохота перед глазами Олега и кузнеца вдруг обозначился с призрачной явственностью великан осокорь, трепеща кружевной глянцевиной вершиной. Осокорь этот стоял на бугре вблизи бригадного вагончика, сейчас битком набитого колхозниками, но Олегу показалось: протяни руку, и можно коснуться корявого, в три обхвата, ствола дряхлеющего богатыря.

Погасло нестерпимо белое пугающее пламя, осветившее осокорь от самой маковки и до комля, и мраком налилось все вокруг, а перед глазами Олега долго еще потом возникало могучее дерево, стояло ему лишь смежить веки.

Наконец и они притопали к вагончику, стоявшему посреди преогромной лужи. При новой вспышке молнии Олег припустился внезапно бегом к бугру, над которым царственно высился старый осокорь.

— Куда? Куда ты, баламут? — вдруг рывкнул кузнец, но Олег даже не оглянулся.

Подбежав к дереву, он с отчаянной решимостью принялся карабкаться вверх по сучкастому стволу.

Кто-то приоткрыл дверь и впустил кузнеца в кромешно черное, по-банному душное, нутро вагона.

Остановившись на пороге и придерживая ногой дверь, дядя Кирилл все вглядывался и вглядывался в сторону осокоря, снова растаявшего в непроглядной по-осеннему мгле.

— Дяденька Кирилл, на кого это ты кричал? — спросил чей-то бойкий любопытный голос.

Его покрыл другой — испуганно визгливый:

— Дверь прикройте, охломоны! Убьет же нас всех молонья!

Но кузнец все так же молча продолжал стоять у порога. А когда вновь воспламенилось небо от края и до края, какой-то мальчишка, просунув голову между широко расставленными ногами Кирилла, восторженно вдруг закричал:

— А баламут наш — Плугарь отпетый... на самой макушечке осокоря сидит!

Мальцу никто не поверил. Когда же за Жигулевскими горами заглохли последние глухие раскаты грома, притихшие актушинцы слышали вызывающе-предерзкий Олегов голос:

— Э-эй, люди добрые! Я молнию сейчас чуть за хвост не поймал!

Тишка, решивший во что бы то ни стало добиться своего, лапая в это время присмирившую Соньку, с ядовитой усмешкой протянул:

— Для некоторых, промежду прочим, закон не писан! Но тут случилось такое, чего никто, решительно никто не ожидал. Откуда-то из дальнего угла с нар поднялась Лариска и, бешено расталкивая локтями стоявших на ее пути односельчан, бросилась к двери.

А добравшись до выхода, плечом оттеснила от косяка кузнеца. И закричала:

— Иди сюда, Олег!

Лариска приставила ко рту сложенные рупором ладони, собираясь прокричать что-то еще, да не успела. Снова загрохотало, и все небо исполосовали быстрые молнии. От нестерпимо резкого трепетного света некуда было деться. В этот вот пугающе долгий миг и увидела Лариска Олега, сидевшего на вершине осокоря: а он ее — в дверях вагончика.

Едва притихло взбесившееся небо, гаркнул Олег сильно и зычно:

— А я сейчас. Ты слышишь, Лариска? Сейчас я!

И, набрав полную грудь воздуха, уже весело прибавил:

— Ты там не бойся. За Актушами полоска светлая обозначилась. Конец скоро грозе!

IX

В Актуши из лугов Олег вернулся засветло. По водянисто-холодному, чуть впрозелень, небу паслась всего-навсего парочка легких облачков, снизу окаймленных клюквенного цвета оборками. А за оцетинившиеся сосны на Шелудяк-горе, будто обуглившиеся во время пожарища, садилось большое, чуть притомившееся за день солнце.

Дома Олега ждала мать.

Он уже давно приметил: стоит после тяжелого рабочего дня, войдя во двор, увидеть на сенной двери висячий замчишко, который любой шкет откроет ржавым гвоздем, как настроение тускнело и уж пропадало всякое желание переступить порог отчего дома. Но ежели окна избы светились тепло и живо или из трубы над крышей курчавился неуловимый дымок, ноги сами собой убыстряли шаг, и по ступеням крыльца Олег взбегал легко и резво.

Так было и нынче. Передергивая плечами (Олега слегка знобило), он влетел на крыльцо, спугнув сиротливо прикорнувшего к высокому порогу утенка, вихрем пронесся через сени, по пути поддав ногой старую калошу. А распахнув дверь в избу, загорланил от порога:

— Мама, ты жива?

Показавшись из-за перегородки, мать укоризненно качнула головой:

— Чему радуешься, водяной?

А приглядевшись к сыну попристальней — с его одежды все еще капало, уже строже прибавила:

— Раздевайся сию же минуту!

И загремела печной заслонкой.

— Да ты что, мам? — опешил Олег. — Я вот умоюсь наскоро, а ты порубать на стол собери.

— Я чугуна воды согрела, — говорила мать, не слушая сына. — У тебя губы, и те посинели. Помоешься в корыте, белье сухое наденешь, тогда и ужинать.

— Ох, — вздохнул покорно Олег, — и придумщица ты у меня!

А поплескавшись у печки в корыте, надев теплое фланелевое белье и даже обувшись в валенки по настоянию матери, он и в самом деле почувствовал себя лучше.

После ужина пили чай.

— До грозы так-таки не успели убрать сено? — спросила мать равнодушно, как бы между прочим.

Улыбаясь про себя этой маленькой ее хитрости (кто-то, а уж Олег-то знал, что значит для ферм заготовка кормов на зиму!), он сказал уклончиво:

— Разве все успеешь... но сметали порядочно. Одна наша бригада с кузнецом во главе такой стожище завернула!

Мать вздохнула.

Желая во что бы то ни стало сменить тему разговора, Олег полюбопытствовал:

— А в Актушах, мам, как? Накуролесила гроза?

Мать с неохотой протянула, супя черные брови:

— Говорят, с церкви крышу новую сорвало. А на Калмыцкой ошалелый петух в колодец залетел.

Помолчав, уже с улыбкой прибавила:

— И еще новость: у Кашаловых... не у тех Кашаловых, кои на Выселках, а у тех, которые на выгоне... Пропала у этих Кашаловых в грозу бабка их столетняя Ольгья. Искали, искали, а она вдруг сама не своя из погреба вы-

ныривает. «Бабаня, спрашивает внука, откуда ты взялась?» А та сердито: «Война-то кончилась?» У внуки и глаза на лоб: «Какая война?» — «Антихристова, — отвечает бабка, — которую атомонной прозывают».

— Дошла бабка! — усмехнулся и Олег.

Обошли молчанием мать с сыном лишь утреннюю историю с приусадебным участком старика Лукшина. Но Олег уже догадался: мать на его стороне. Эта молчаливая поддержка матери — всегда и во всем правдивой и справедливой — сейчас так нужна была сыну! И он, подобрев душой, едва не выболтал ей о новой стычке с Волобуевым, происшедшей уже после грозы, когда за промокшими колхозниками в луга прикатил грузовик.

Почесывая ухо о мосластое плечо, Олег второпях заговорил совсем о другом:

— Да с Ленькой Шитковым... и рассказывать даже охоты нет. Он, Ленька, вместе с Волобуевым зачем-то прикатил на полуторке. Ну прямо ффрант ффрантом... не в луга будто прикатил, а в клуб на бал по случаю Нового года! И брючки отутюжены, и белая сорочка с галстучком, и кожан на «молнии».

Мать вопросительно поглядела на сына.

Олег глотнул из чашки горячего чаю, обжегся и закашлялся.

Минутой позже, все еще не поднимая от стола глаз, сощуренных до щелочек, он с трудом закончил:

— Машина летела с ветерком, ну, и продрогли все. А женскому персоналу и подавно досталось. Я и скажи Леньке — он тоже в кузове вместе со всеми трясся: «По-жертвуй на время свою куртку девчонкám», а он...

— Ну, а он? — поторопила мать Олега, тянувшего до странности скучным голосом.

— А он взял да отвернулся. Не расслышал, поди-ка ты! Пожалел, жадина, кожан свой столичный!

Пододвинув ближе к сыну вазочку с загустевшим прошлогодним медом, до сих пор все еще пахнущим липовым цветом, мать поправила волосы, тяжелым узлом связанные на затылке. Вздохнула. А потом с легким смешком проговорила:

— Э-э, горюшко ты мое! Даже скрытничать не научился. Вся душа нараспашку!

Чувствуя, как у него не только лицо, но и уши запылали, Олег удрученно и потерянно мыкнул:

— Ну, ты вечно мне не веришь...

— Молчи уж! — махнула рукой мать. — Пока ты с девками топтался на площади, мне люди все обсказали.

— И что же они тебе обсказали?

— Сам знаешь! Так, говорят, Волобуев на тебя рывкнул, что с Шуркой Шаховой чуть родимчик не приключился. Пообещал, сказывают, если ты еще на покосе появишься, с милицией турнуть!

У Олега заиграли на побуревших скулах крупные желваки. Прерывисто дыша, он спросил, еле шевеля губами:

— А сказывали тебе, как обломал Волобуева дядя Кирилл? Сказывали?

— Сказывали! — кивнула мать. — Спасибо Кириллу Силаичу. Отхлестал он этого мизгиря по первое число. «Чего ты к парню привязался? Чай не на барщине он, и ты не помещик!» Так или не так сказанул кузнец?

— Так-то так, да я другое вижу: не будет мне, мам, тут жизни... пока Волобуев крутит-вертит в Актушах. А в огородную бригаду я больше ни ногой. Другой же работы он не даст... Хоть уезжай до времени куда глаза глядят. А куда сунешься без паспорта?

— Уж и управы нельзя найти? На этого самодура? — спросила в сердцах мать, скрестив на груди руки. — Узнать бы надо, когда Пшеничкин из больницы вертается. Семен Семеныч, он всегда за правое дело... Сколько раз доставалось от партийного секретаря разным ухарям! Семен Семеныч и сейчас бы...

— За Петра Ильича Лукшина, может, и тряхнут малость. И землю старику заставят вернуть. А со мной... со мной у них вроде бы все в ажуре. Не зацепишься. — Помолчав, Олег добавил: — Пшеничкин, это ты верно... душа у него родниковой чистоты! Вот только прихварывать чего-то частенько стал.

Долго оба молчали. Совсем было заглохший самовар вдруг снова затянул свою песенку — жалобно, пискливо.

— Раздумаешься порой, и голова пойдет кругом, — заговорила удрученно мать. — Когда-то, в давние времена, читала раз в книжке, народники были — даже девицы благородные среди них встречались, — ехали в деревенскую глушь детишек голодраных мужиков грамоте учить!.. А крестьянские наши дети отправляются в город, получают там высшее образование, и многие, вместо того чтобы возвращаться в родные места, стараются, бесстыжие, зацепку найти... увильнуть от деревни. У преда нашего, слышь,

дочка на ветеринарного врача выучилась, посылали куда-то на Север, а папаша откупил ее. И сейчас девица эта — не срамota ли? — в Самарске в овощном магазине нашей же картошечкой и моркошечкой торгует!.. Вон Зося Сипатова, моя помощница, третью неделю ждет не дождется ветфельдшера боровка выложить. Хоть за академиком в Москву посылай! И смех, и грех!

Мать усмехнулась, принужденно как-то усмехнулась. А минутой позже, сдвинув с места жестянку из-под халвы, в которой теперь держали сахарный песок, вытянула из-под нее конверт.

— Чуть не забыла, письмо тебе, Олег. Получай!

Но прежде чем положить перед сыном этот песочно-пепельный, точно выгоревший на солнце, тощий конвертик, еще сказала — недоуменно, с горечью:

— И отчего теперь люди с такой легкостью невообразимой с насиженного места срываются? Деды наши — те ее, землю-кормилицу, никогда не бросали.

Стоило Олегу лишь мельком глянуть на конверт, как он тотчас отложил его в сторону.

— Чего морду воротишь? — строго спросила мать. — Ведь не кто-нибудь, а отец родной письмо прислал!

Олег набычился.

— А ну его!

Не зная, чем занять руки, он принялся ложечкой бешено мешать пустой чай в стакане. Оставив наконец в покое стакан, Олег выпрямился. И, глядя матери прямо в глаза, сказал:

— Скоро девять лет... в ноябре будет девять, как уехал отец. Я ни разу не спрашивал тебя, мам... а сейчас прошу...

Самовар все еще по-прежнему упрямо тянул заунывную песенку, и мать ладонью сильно прихлопнула заглушку. И заговорила — негромко, раздумчиво, то и дело спотыкаясь:

— Просто так, в двух словах, не опишешь всего и взглядом не обнимешь. Годами накапливалось... Случается, когда рушится семья, соседи судачат про то всякое. Бывает, и такое вплетут: «Разные, мол, они были люди, по-разному на жизнь смотрели». Вот и про нас с твоим отцом... тоже... тоже что-то вроде этого можно сказать. Да, возможно, не только мы, и деды наши были разные, и отцы с матерями — тож. Ни дедушке моему, а твоему прадеду, ни моему родителю, никогда легко не жилось. Но семья

была дружная, до работы упористая. Бывало, ночами не спали, коли кобыла ходила жеребая али коровушка стельная, к примеру. А появится на свет махонькая животина — праздник для всей семьи наступал. Правду говорю. Не была наша семья шибко богатой, но и в крайнюю бедность никогда не скатывались... Всякое случалось — и лихие неурожайные годы донимали, и градом побивало посевы. Падеж скота и наш двор стороной не обходил. Но тужились мужики, подтягивали крепче ремни. Ежели надо — и бабы вместо лошадок впрягались. Подошло раскулачивание... В тот слезный год у нас в хозяйстве всего-то навсего четыре животные числилось: старый мерин, кобылка нежеребая и Красавка с телочкой годовалой. Ну, там еще овечек голов семь, подсвинок, курешки. А едочков без одного рта десятеро! Ну, и порешили на собрании: Сивуху и Красавку забрать, а самих не трогать с места. Миновала большая беда! А колхозы только-только зачали проклевываться, родитель один из первых заявление понес. Верил: облегчение крестьянскому роду пришло!

Перебивая себя, мать недоуменно пожала плечами:

— К чему это я пустилась в библейскую историю?

Олег нетерпеливо бросил:

— Дальше, мам!

Но она не сразу продолжила свой неспешный рассказ, а еще помолчала-пораздумала, комкая между пальцами кромку чайного полотенца с махрами.

— Дедушка Игнатий, не считаясь с преклонностью лет, годочка четыре еще работал в колхозе. А помер совсем чудно. Зинушка, старшая сестра, так сказывала: картошку рыли. И старый и малый в поле вышел. Да и пора, нельзя было дальше мешкать: того и гляди белые мухи полетят! А под вечер совсем заглодало, иззяблись все. «Побегу, дедка проведая», — говорит себе Зинушка. Прибегает на другой конец полосы, а он, сердечный, как старый воробей, нахохлился. Шапка, и та на самый нос наехала. Сидит на земле и не шевелится. А в пригоршнях — руки ровно в чернилах выпачканы, так все залиловели, а в пригоршнях, значит, пара крупных картох. «Задремал, что ли, старый?» — спрашивает себя Зинушка. Наклонилась над дедушкой, а он не дышит.

«Дурак! — обругал себя Олег, стискивая зубы. — Зачем просил рассказать? Вот расплачется сейчас...»

Но на глазах матери даже слезинки не проступило. Только она заспешила, зачастила вдруг:

— А дед Иван, мой родитель, ты не раз о том слышал, перед самой войной — он тогда скотником стоял на молочной ферме, при пожаре погиб. Балкой его насмерть придавило, когда он в пылающий коровник кинулся, чтоб последних коров вывести. Не то по нечаянности какой загорелась ферма, не то с умыслом злым кто-то пустил петуха... Ну, а про твоего отца... они, Плугаревы, испокон века в бедняках ходили. Не везло им, что ли, али прилежания к земле не было? Кто их знает! Слышала, когда еще девчонкой бегала, мать сказывала: «Хлеба у всех стеной стоят, ужю не проползти, а Плугаревы ни с того, ни с сего, надумают вдруг в Сибирь махнуть, а то и еще в какую-нибудь дальнюю дальность. Продадут посе́вы на корню, скотинешку тоже побоку, и закатятся в путь-дороженьку. Слышь там, на золотых прииска́х, деньгу большую наживают люди! А по весне обратно в Актуши притопают... чуть ли не босые. И так всю жизнь». А пришла революция, дедушку Никиту, это твоего отца родителя, в совдепы выбрали. Водил мужиков громить графскую усадьбу. Началась чапанка на Волге — это когда богатеи силились Советскую власть смахнуть, Никита к красным подался. И Митюху, сына старшего, с собой прихватил. Да не повезло Никите. Изловили его бе́ляки, измордовали зверски, а потом, душегубцы, повесили в Катериновке на площади. Один Митюха после кровавой заварухи в село вернулся. И пришлось ему запрягаться по самые ноздри в хозяйство. После Никиты два неразумных огольца остались, да самому Митрию к тому времени Агаша, жена, тройню принесла. Управься-ка тут один!.. Опять, кажись, я в историю вдарилась! Перейду сразу ближе к концу... Твой будущий отец пришагал домой после Отечественной войны в чине лейтенанта. Без мужиков заплешала и земля, и хозяйство в упадок пришло. Только он, Антон-то, не в борозду сунулся, а клуб наш возглавил. Танцевать был мастер! На танцах, дуреха, и втюрилась по уши в молодца!

Мать опять потянулась за полотенцем. Дрожащие пальцы связали в узелки два-три махорка... Подавляя вздох, она покачала головой:

— Старею, похоже. На болтовню тянет: видишь, как развезла! Да сейчас закруглю. Отца твоего и раньше уговаривали в вожаки колхозные заступить. Да он не простак, все увиливал. А от сельсовета не отвертелся. Избрал народ. Ну, и начали они с Заклепаловым, тогдашним предколхоза, поднимать урожайность, насаждать культуру на селе...

Раньше Антон в меру выпивал, а Заклепалов этот самый... он еще до Антона несколько колхозов по миру пустил, так вот Заклепалов-то и втравил отца. Что ни вечер — то пьянка у них, что ни воскресенье — гулянка. Они и бабенок мокрохвостых не обходили стороной. А мой... этот даже в Брусянах завел себе мамзельку. К слову добавлю, мизгирь Волобуев на побегушках у теплой компании числился. Правая рука! Этому, верно, на радость было, что народное добро по ветру пускают. Он ведь из семьи приметных в округе богатеев. У деда Волобуева маслобойка была, трактор, скота полный двор. Ну, вот, кажись, и до конца дотянула. Сколько раз, бывало, своему советовала добром: «Опомнись, что делаешь? Развяжись с бесстыжим беспутником Заклепаловым! Снимать его пора, а то все корни под колхозом подрубит!» А мой Антон знай свое: «Не бабьего ума дело. Не суйся в наши мужские дела!» И как что, так в Брусяны закатится... к своей, значит, крале. Была у него секретарша в леспромхозе. Вернется, бывало, домой из района, слова доброго не скажет. Тучей осенней смотрит. А в зиму в райисполком устроился. Дружок у него там с войны сидел, ну и помог бедняге. Приезжает раз из района и заявляет, потирая от превеликого удовольствия руки: «Собирайся, мать! Пора из этого болота выбираться. Хватит и тебе за разными буренками павоз выгребать да баланду всякую им стряпать. Хватит ишачить, собирайся давай!» — «Как собирайся? — спрашиваю. — Развалили все, а теперь на печку? Пустьдохнет скот, пусть люди недоедают, а мы с портфелем по райцентру разгуливать зачнем? Вспомни-ка деда Никиту! За что он головушку свою сложил?» А мой Антон свое гнет: «Перестань, говорит, демагогию разводить. Не те времена. Раз мне партия доверяет другой пост, значит, надо ехать!» — «А секретуркой с крашеными губами, говорю, тебе тоже партия приказала обзавестись... кроме жены?..»

Повернувшись лицом к Олегу, мать улыбнулась ему ласково и виновато. Сказала еле слышно:

— Так и разошлись, Олежек, наши с Антоном пути. Так ты у меня и остался без отца. Виновата если — кори. Только не могла против сердца... Какая уж это жизнь, когда знаешь, что ты посылая своему мужу? У него и для тебя ласкового взгляда не было.

Ни слова не проронил Олег. Собрав с колен обрывки порванного письма, он сунул их в карман. И встал. Подо-

шел к матери. Бережно прижимая ее голову к своей груди, поцеловал в затылок. И тут он увидел в темных густых ее волосах тонкие ниточки. Несколько тусклых свинцовых ниточек.

Х

Когда они чуть ли не последними вышли из Усольского клуба, только что битком набитого людьми, Лариска, глянув на ручные часики, тихо ахнула:

— Ой, уж тридцать пять двенадцатого!

Вытирая скомканным платком шею, Олег спросил себя: «Как же мы теперь в Актуши... на одиннадцатом номере? А?»

В Усолье они прикатили на случайно подвернувшемся грузовичке. А вот обратно... Олег оглядел пустынно сумрачную площадь. Лишь напротив у продовольственно-промтоварного магазина, такого по-городскому шикарного, с огромными витринами из сплошного стекла, тускло горел фонарь, освещая вокруг себя пыльную, полупритоптанную траву в пятнах мазута.

В разные стороны торопливо расходились последние парочки. С завистью провожая взглядом убежавших в обнимку мальчишку и девчонку, Олег снова подумал: «Эх, и барбос же я... ну, зачем потащил за собой Лариску?»

Тут-то и подкатил к ним лихим чертом Ленька Шитков на своем трескучем мопеде! С ветерком подкатил, каналья, обдавая и Лариску и Олега пылью — отволглой, пропахшей прогорклым полынком.

— Честной компании приветик! — бодро поздоровался Ленька. — Персональную «чайку» ждем или надеемся такси заарканить? Предполагаю, годков эдак через десяток они, возможно, и появятся в нашей местности. Я имею в виду такси. А сейчас, — Ленька развел руками, как бы прося извинения, — а сейчас, к сожалению... Как сказал Маяковский: «Наша планета для веселья мало оборудована».

И он глупо и самодовольно рассмеялся, рассмеялся прямо в лицо помрачневшему Олегу.

Лариска обрадованно сказала:

— Лень, а мы тебя не видели... ты в каком ряду сидел?

Опять разводя руками, Ленька нахально хихикнул:

— Так вы же на пару! Разве тут узришь земляка!

— А ты один? — спросила чуть удивленно Лариска,

переступая с ноги на ногу (ох, уж эти туфельки на гвоздиках!).

— Как видите... «Белеет парус одинокий в туманном море голубом».

— Не ври. У поэта сказано: «в тумане моря голубом», — проговорил Олег. — Что это ты стихами сыплешь? Уж не задумал ли в поэты податься?

Легонько потянув Олега за рукав пиджака, Лариска спросила, улыбаясь поощрительно:

— А ты, Леня, правда стихи пишешь?

Изображая из себя скромника, Ленька потупился, поводя ладонью по рулю мопеда.

— Пацаненком когда был... а сейчас... разве что изредка. Все дела, да случаи...

«Ах, ты, шут гороховый! — вознегодовал про себя Олег. — Ты же одни тройки по русскому и литературе получал. И никакого поэтического дара никогда и никто за тобой днем с огнем не замечал! Это ты перед Лариской павлиний хвост распускаешь!»

И он снова сдержался. Но решил положить конец вздорному Ленькиному бахвальству. Сказал:

— Между прочим, Леонид, поэт, которого ты только что переврал, написал... заметь — персонально о тебе... хочешь прочту?

Не дожидаясь согласия прикусившего язык Леньки, нарочно сурово и мрачно Олег изрек:

Печально я гляжу на наше поколение!

Его грядущее — иль пусто, иль темно...

— А, черт, запомнил, как дальше, — выругался Олег. И, помолчав спросил: — Ты, поэт, Лариску прихватишь? А я пешочком...

— Нет, я не поеду, — перебивая Олега, поспешно сказала Лариска. — Я тоже пешком.

— Это на шпилечках-то девять километров? — Олег посмотрел девушке в глаза и, смягчившись, осторожно добавил: — Ты обо мне не думай. Мне что девять, что пятнадцать... Я на своих ходулях быстрехонько вслед за вами притопаю.

Просиявший Ленька петухом прокукарекал:

— Да я отомчу Лариску и за тобой... Для моего коня пара пустяков...

— Нет и нет! — уже решительнее отрезала Лариска. — Я просто хочу прогуляться. Поезжай, Ленечка, не томи себя.

Не говоря больше ни слова, Ленька надвинул на белесенькие, неприметные бровки беретик и сразу с места взял предельную скорость.

В ночной тиши заснувшего села мопед его, остервенело треща, пронесся с ревом реактивного истребителя сначала по главной улице, потом свернул в переулок к складу нефтепромысла. И даже когда мопед вырвался на просторное шоссе приречной поймы и все так же бешено понесся в сторону Актушей, Олег и Лариска еще долго слышали его kloкочуще-злое, захлебывающееся бормотанье.

До околицы они прошагали молча. То и дело дороге им перебежали бездомные кошки. Можно было подумать, что в Усолье открыли кошачий питомник. А когда вышли на безлюдное шоссе, тянувшееся в сторону Ульяновска, в дневное время всегда оживленное и шумное, Лариска сказала:

— Не пойти ли нам лугами? Вдоль Светлужки?

И, не дожидаясь согласия Олега, нагнулась и сняла с ног туфельки.

Олег пожал плечами.

— Как хочешь. Только по шоссе короче...

— А! — беспечно тряхнула кудрявой головой Лариска и засмеялась. Засмеялась впервые за весь вечер. — Куда ни шла ноченька!

Она сбежала с шоссе на лужайку и весело запрыгала, держа над головой свои невесомые туфельки, в сумеречной загустевшей сини наступившей ночи похожие на смиренных диковинных птиц.

Вдруг стало весело и Олегу. Он тоже разулся, тоже сбежал на лужок и подхватил Лариску. И они закружились в вальсе. Обычно большой, неуклюжий Олег робел на танцевальных вечерах в клубе, то и дело опасаясь, как бы не толкнуть кого локтем или не наступить кому на ногу. Сейчас же он сам был поражен той легкостью, с какой выделявал эти безумно сложные, по его мнению, па.

Вдруг из-за горного кряжа Сокских гор выкатил огромный «ЗИЛ», полоснув танцующих острым лезвием искрящегося света. Олег и Лариска смутились, сбились с такта.

— Бежим! — шепнула, приподнимаясь на цыпочки, Лариска.

Загораясь озорством девушки, Олег схватил ее за руку, и они побежали, побежали через скошенный луг к Светлужке, окутанной клубившимся туманцем.

На песчаном холме, врезающемся острым мысом в лу-

говую низину, запыхавшаяся Лариска остановилась у приземистой сосны, в вершине которой запутались две лучистые звездочки. Прижалась спиной к шероховатой коре и закрыла глаза.

А Олег сел у нее в ногах на прохладной, совсем бесцветный песок, усыпанный ощерившимися шишками. Обняв руками ноги, он уперся подбородком о колени, спрашивая себя: «Мог ли я еще на той неделе мечтать о таком вечере? Не раз и не два приглашал Лариску и в кино, и на прогулки, а она все отнекивалась: то некогда, то недосуг. А вот нынче»...

Как бы очнувшись от забытья, Лариска легко так вздохнула и, опуская на голову Олега горячую ладонь, спросила вкрадчиво:

— Ты не спишь?

— Нет, что ты! — с невольной порывистостью проговорил Олег, в то же время боясь пошевелиться. Он просидел бы так всю ночь, лишь бы Лариска не убирала с его головы своей волнующей руки. Сердце то совсем замирало в груди Олега, то начинало колотиться так бешено, что он пугался: не слышит ли Лариска?

— Посмотри в низину, — продолжала она. — Видишь лошадей?.. Будто они плывут, правда?

И, сняв с головы Олега руку, повела ею влево. Олег неохотно посмотрел в ту сторону.

На лугу паслись лошади. Одни из них не спеша щипали траву, другие спали, понутив головы. Чуть подальше от табуна, у стога, стояли рядышком еще две лошадки. Одна из них дремала, доверчиво положив голову на шею другой. Зыбкие космы тумана путались у лошадей в ногах, и отсюда, с мыса, казалось: табун неслышно плывет по молочной реке.

— Правда, здорово? — переспросила Лариска.

— Ага, — кивнул Олег. И добавил: — Садись. Удобный мысок. Все как на ладони.

Помешкав, Лариска опустилась рядом с Олегом. Обтерла от песка ступни ног, надела туфли. Сказала:

— На этом лугу девчонкой журавушек я видела. Стая заночевала. Мы тогда с отцом от тетки из Орловки возвращались да припозднились. А они, журавушки, на ночлег устроились. Начало апреля было, Светлужку еще синий лед крыл, а они уж на север торопились, весну на крыльях несли. Преогромнейшая стая — весь луг заняла, а посреди на бугорке — старшой. Стоял на одной ноге и зорко-зорко

во все стороны смотрел. Отец, помню, сказал: вторую ногу он для того поджал, чтобы...

Внезапно Лариска обернулась назад и с приглушенным вскриком: «Ой, кто там?» качнулась к Олегу, ища у него защиты.

Вскочив на ноги, Олег увидел большого старого лося. Шагах в пяти от сосны стоял он, косматый и бурый, высоко вскинув голову. Много раз приходилось Олегу видеть лосей — и в лесу, и в лугах, но так близко — впервые.

— Ты чего? — как можно тверже проговорил он, глядя на гордого великана, сильно напружинившего все мускулы. — На водопой собрался? Ну, так и шагай своей дорогой!

Лось постоял, постоял, подумал, подумал, а потом, раздувая чуткие ноздри, фыркнул, мотнул головой. И, выбрасывая вперед длинные тонкие ноги в светлых подпалинах, стремительно пронесся мимо Олега и Лариски, обдавая их и горячим дыханием, и брызгами песка.

Махнув с мыса вниз, лось перешел на шаг. Он пересек наискосок луг и вскоре скрылся в прибрежном мелколесье.

— Ой, и напугал же он меня! — приходя в себя, призналась Лариска. — Такой большой и страшный.

— Ничуть и не страшный, это тебе просто так... почудилось, — успокоил Олег, снова опускаясь рядом с девушкой. Ему показалось, что Лариска дрожит. Он снял пиджак и заботливо укрыл девушку.

— Спасибо, — кивнула она.

Набежавший откуда-то ветришко прошелся ощупью по сосновым веткам, и на Олега с Лариской повеяло сухим смолистым теплом.

Не то филин, не то другая какая-то птица, пролетев мимо, отвесно упала в мглистую темь низины. Некоторое время над Петрушиным колком, задевая вершины деревьев, пасся молодой худосочный месяц. Он скрылся так же неприметно, как и появился. И немотно тихая — не светлая, и не темная — июньская ночка, поражавшая своей неземной прозрачностью, боясь скорого рассвета, щедро оделила луга тяжелой, как ртуть, росой.

Вероятно, помимо воли задремавшая, Лариска прислонилась плечом к Олегову плечу, и он старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее легкого сна. Но, оказалось, она и не думала спать. В то время, когда у Олега тоже стали слипаться веки, Лариска со вздохом сказала:

— Этой девчонке позавидуешь. Не у всякого найдется такая воля!

И, отстраняясь от Олега, она посмотрела на него с застенчивой, еле приметной улыбкой.

Приходя в себя, Олег тоже обернулся к Лариске. И еле удержался от искушения осторожно погладить ее по щеке — такой упругой и такой прохладной.

— Представить даже немыслимо: обречь себя на четырнадцатилетнее ожидание, — продолжала, помолчав, Лариска, все так же негромко, почти шепотом. — А тот, второй парень, он был даже больше по душе Маре, но она все-таки не нарушила своего слова, не изменила Бубе.

«Да ведь это она о давешней картине», — догадался наконец-то Олег. И уж совсем очнувшись от властно одолевавшего его сна, сказал тоже с улыбкой:

— А я бы на ее месте за того... за печатника вышел замуж.

— Ну, как ты можешь такое сказать! — горячо воскликнула Лариска. — Разве Бубе тогда бы перенес тюрьму?.. Нет, Олег, я... я завидую Маре. Эта ее верность... верность во что бы то ни стало, наперекор жестокой жизни... такой верности многим нашим девочкам надо бы поучиться!

Вздохнув, она добавила, легонько касаясь Олеговой руки:

— Спасибо тебе. Одна я бы не собралась в Усолье. Да я и не слышала ничего об этой картине.

Олег ответно потянулся к Лариске, намереваясь обнять ее, но она остановила его беззащитным, молящим голосом:

— Не надо... не надо, Олег. Мне и так хорошо.

И он сдержался. Он только с недоумением спросил себя: «Ну, не странно ли? Почему я перед этой девочкой робею? С другими никогда таким не был, а перед Лариской...»

Подавил в себе вздох и еще подумал: «Какая она другая, не похожая ни на кого, даже на Соньку. Родные сестры, а совсем-совсем разные!»

Ему стало стыдно, нестерпимо стыдно, будто Лариска могла угадать его мысли. В трепетно светлые ночи, какие бывают на Волге в июне, влюбленные часто читают мысли друг друга по глазам.

В притихших, как бы омертвелых на время прибрежных зарослях краснотала вдруг кто-то защелкал, защелкал торопливо, как бы спохватясь: тю-тю-тю... тюи-тюи-тюи!

— Соловей, — прошептала Лариска.

И вдруг ожил не только кустарник, ожили и луга, и дальний Петрушин колок, и горные кряжи в дымке. Вся

чуткая, дремавшая доселе природа востепенулась, обретая слух.

А певец помолчал, да как во всю силушку хлестанул раскатисто да на перещелк!

— Эге-е! — присвистнул удивленно Олег.

Опять помолчал голосистый, словно цену себе набивал. И снова поразил и Олега и Лариску: такие перезвоны рассыпал, что и ушам не верилось.

Порой казалось: соловей достает со дна Светлужки мелкие, обкатанные голышики. Звенят, падая в речку, прозрачные капельки, перекатываются камешки. Но вот надоели ему голыши, и он с размаху бросает их в омут, и звенят колокольцы... Да только ли над Светлужкой слышна эта непередаваемо чистая звень?

— А вон еще, — прошептала обрадованно Лариска. — Слышишь, Олег? Другой выводит трель... Ой, боже, ну как хорошо! Скоро по всей Светлужке соловьи защелкают. Наверно, другой такой речки нет, как наша. Ее надо бы Соловьиной назвать.

Олег глянул на Лариску, и она улыбнулась ему. Улыбнулась, вытирая рукой нависшие на ресницах слезинки.

XI

Не зря, видимо, говорят, что счастье от несчастья недалеко ходит. Вся последняя неделя июня — тихая, кроткая, с пугающе светлыми ночами, пролетела для Олега, как один день.

Чуть ли не каждый вечер встречались они с Лариской. Исколесили все окрест вдоль и поперек. А однажды засиделись на Ермаковом обрыве у Светлужки до рассвета.

Раньше Олег как-то и не думал о том, до чего же она маняще красива — извилистая их речушка, красива не яркостью, не броскостью, а бесконечно глубокой, задушевной русской своей светлостью. Посидите-ка июньской ночью на берегу Светлужки и сами в этом убедитесь.

Чутко дремлющая вода — теплая-теплая, теплее парного молока, на заре видела сны: по ней то и дело шли круги — то тут, то там. Олег знал — рыба в воде играла, но Лариска говорила другое: «Сны снятся Светлужке — легкие, девичьи, потому-то и круги тихие, не плескучие». И Олег соглашался, кивал головой.

А когда закричала страшно, леденя душу, выпь в камышах — черных впрозелень, возле которых на загустев-

шей воде плавали, тая, последние звезды, Лариска испуганно шепнула на ухо: «Водяной бык... честное слово! Я маленькой видела, как он косматую морду из омута высунул и ну кричать. Я тогда без памяти домой примчалась».

И вдруг все сразу кончилось, точно оборвалась та незримая, пока еще тонюсенькая, ниточка, все эти дни связывающая Олега и Лариску.

Прибежал он в субботу в Заречье к Лариске под окно, намереваясь ошеломить ее радостной вестью: «В Ставрополе польский эстрадный ансамбль выступить будет. Всего один вечер. Ясно? Собирайся!»

Подкрался к раскрытому настежь окошку, глянул через подоконник, заставленный планками с веселой бездумной геранью, да так и присел.

Прямо у окна за ломившимся от книг столом сидели рядышком, локоть в локоть, Лариска и... фельдшер.

Откуда он внезапно взялся, этот смазливый синеокий усатик? Ни разочку не заикнулась о своем костоправе Лариска, а ведь о чем только не переговорили они с Олегом в эту канувшую теперь в небытие беззаботно-счастливую неделю. И вот — нате вам! Вольготно сидел бок о бок с Лариской в ее доме ненавистный Олегу хлюст, концом карандашика по усам водил и латинскими словами сыпал, ровно семечки каленые щелкал.

Хрустнул под ногами у растерявшегося Олега прутик. И тотчас Лариска строго крикнула:

— Кто там?

Выпрямился Олег, поднял с трудом голову.

— Я это. Выйди на крыльцо... на минуту.

С недоумением Лариска переспросила, словно не узнала по голосу:

— Олег?

Он не ответил, лишь губы сжал плотно. А про себя подумал с упреком: «Хитришь? И не стыдно?» Хотел повернуться и уйти, но что-то еще удерживало, какая-то неподвластная ему сила крепчайшими ремнями спутала ноги.

— Ой, да ты что — язык проглотил? — весело сказала Лариска, показываясь в окне. — Заходи, Олег, я тебя с Валентином познакомлю.

Помотал головой Олег, набычился. Лариска пожала плечами, бросила сухо: «Сейчас!» и скрылась.

Чтобы усатик не слышал их разговора, Олег намеренно дальше отошел от крыльца.

— Ну, что у тебя за китайские секреты? — налетела

на него Лариска. Она белой бабочкой выпорхнула из калитки — совсем неожиданно для Олега. — Да ты... куда ты так вырядился? — оглядела она Олега вприщур.

Из заднего кармана черных брюк Олег осторожно достал билеты. И все так же молча протянул их девушке.

— Билеты? И куда? — Лариска с томительной нерешительностью взяла в руки две неровно оторванных сиреневых ленточки, пробежала глазами скупой текст. Сказала, не поднимая глаз: — Нет, Олег, не могу. Мы и нынче весь вечер, и завтра... заниматься будем. Валентин обещался...

Тут она глянула на Олега и замолчала. Длинный, большеголовый, он смотрел на нее с таким грустным, убитым видом, что доброе Ларискино сердце все так и затрепетало от жалости.

— Олег, ты только... только, пожалуйста, не сердись, — начала было снова Лариска, прижимая к груди кулачки, но он, озлясь, перебил ее:

— А я-то думал... а ты... Зачем ты меня за нос водила? А сама... Этого усатика в уме держала? Зачем?

Вплотную к Олегу подошла не сробевшая Лариска. Положила на его вздрагивающие угловатые плечи маленькие крепкие руки.

— Пойми меня, Олег, правильно. Пойми! Наслушался ты актушинских сплетниц, а они ошибаются: не собиралась и не собираюсь я замуж. В медицинский... вот куда я собираюсь попробовать поступить. А Валентин обещался поднатаскать меня... Ну, теперь ты все знаешь?

Она заулыбалась. Светло так, чисто, искренне. Даже Олега проняла эта улыбка, озарившая Ларискино лицо незнакомой дотоле, пугающей новизной. Вначале у него губы чуть раздвинулись, потом чуть потеплели глаза.

Все еще не снимая с его плеч ладоней, таких волнующе горячих, Лариска участливо спросила:

— Ты мне лучше скажи, как у тебя с работой?

— Все никак, — еле выдавил из себя Олег, мрачней.

— А с председателем... с ним ты говорил?

— Утрьсь. Говорю: ставь на самую тяжелую, какая ни есть в колхозе работа, а он только рычит и слушать ничего не хочет. Решил я подождать Пшеничкина. Со дня на день из райбольницы должен приехать наш партийный секретарь. — И, вдруг вскипев, Олег весь побагровел. Скомкал возвращенные Лариской билеты и бросил ей под ноги. — Да тебе-то что?.. Тебе что за дело до меня? Лети к своему усатику, а то он заждался!

Грубо сбросил со своих плеч Ларискины руки. Сбросил и побежал. Бежал Олег вдоль улицы, сжимая от душившей его ярости кулаки.

XII

Актушинская чайная славилась на всю округу. Заведующий чайной бельмастый Филя — узкоплечий мужичишка с впалой грудью чахоточного и его жена — повариха и уборщица этого злачного заведения, особа гвардейского телосложения, жили тут же, во второй половине здания, и у них, людей покладистых и несцесивых, даже в глухую полночь всегда можно было добыть поллитровку.

В чайную, прозванную в Актушах «Опрокинем», и влетел ожесточенный Олег, все еще негодуя в душе на коварство простодушной с виду Лариски.

И хотя солнце стояло еще довольно-таки высоко, как бы раздумывая: не стоит ли ради субботы повременить с уходом на покой, а в тесном помещеньице было уже людно и накурено.

Олег прошел в самый дальний, полутемный угол и сел спиной к двухметровому плакату, призывающему в стихах раз и навсегда искоренить пьянство.

Лишь за этим вот столиком с переполненной окурками алюминиевой пепельницей восседал одиноко на редкость представительный незнакомец.

Слева, сдвинув три стола, сидели тесной компанией какие-то лохматые парни и девицы. Все девицы были похожи друг на друга, словно они только что сошли с конвейера: «конским хвостом» завязанные на затылках волосы, сожженные перекисью водорода, белые полупрозрачные нейлоновые блузки, пронзительно-пунцовые топорщившиеся юбки с преогромными карманами, точно у кенгуру, и пестрые, под крокодиловую кожу, лодочки на шпильках.

«Откуда взялся этот табор? — подумал Олег про пеструю компанию откормленных молодцов. — Неужели туристы из Самарска? И прикатили лишь за тем, чтобы в пещере Степана Разина кутеж на всю ночь закатить? А сюда завернули пары для начала подогреть?»

Занимали свои места и завсегдатаи чайной: счетовод-пенсионер в допотопных очках с поломанными железными дужками, портной Ивилов, инвалид войны, и церковный сторож Калистратыч, добрейшей души старик, похожий на Клару Цеткин.

А у стойки расположилась проезжая шоферня, наворачивая за обе щеки свиную тушенку с кислой капустой. Конечно, и они, трудяги, пропустили по двести: мутные граненые стаканы за ненужностью уже были отодвинуты к самому краю стола.

Обведя беспокойным, тоскующим взглядом чадное залечайной, Олег вдруг сказал, обращаясь к щеголеватому незнакомцу — соседу напротив:

— Извините... забыл спросить: я вам не помешаю?

Легонько поглаживая пухлой ладонью дряблую, но тщательно выбритую щеку, представительный мужчина с явным интересом уставился на Олега. Чуть помешкав, он благосклонно произнес:

— Ну, конечно, нет! Что за вопрос?

Потом налил в рюмку водки из пузатенького графинчика с золотым ободком (этот графинчик с тонкими рюмочками подавались бельмастым Филей и его женой лишь важным посетителям). Налил и, болезненно морщась, вздохнул потерянно:

— Вроде бы и приятности никакой в сей отраве, а вот... прикладываемся!

С этими словами представительный незнакомец взял рюмку и смело опрокинул ее в рот. А понюхав со знанием дела хлебную корочку, принялся сосредоточенно тыкать вилкой в сочную котлетку на тарелке.

«Хо-хо, ну, и бес Филей! — подивился про себя Олег, косясь на поджаренные, аппетитные котлеты. — Не иначе из семейного рациона уделил важному командировочному малую толику. Своих односельчан он не балует!»

— Вы к нам по делу или по личным надобностям? — любопытствовал Олег, переводя взгляд на холеное лицо незнакомца с высоким лбом мыслителя.

Отвалясь на спинку стула, тот не спеша закивал, общительно улыбаясь.

— Из Белокаменной, — подтвердил заезжий. — Я, видите ли, ихтиолог... м-м... ученый, изучающий жизнь рыб, условия их размножения и все прочее, связанное с этим.

— А у нас на Волге, напротив ГЭС, институт такой открыли, — сказал Олег, гася в глазах недобрые огоньки. — Четырехэтажное здание занимают... Лет восемь назад в новом море еще водилась кой-какая рыбешка, а теперь — ни-ни! Ни одной малявки! Ну, а раньше... раньше всякой рыбищи в Волге невпроворот было!.. Так вы в помощь здешним ученым приехали или самостоятельно? Уж

не за нашу ли Светлужку хотите взяться? В ней пока еще водится рыбка.

Ихтиолог сощурил свои грустновато-добрые, небесной голубизны глаза.

— Я понимаю скрытый смысл вашей иронии,— вздохнул он, снова наполняя свою рюмку.— Но поверьте — мы прилагаем все усилия...

Кто-то бесцеремонно потянул Олега за рукав. Оглянулся он, а это благоверная бельмастого Фили.

— Тебе что, другого места не было?— зашипела бойбаба, нависая над Олегом каменной глыбой.— Непременно сюда шайтан тебя потянул? У-у, необразованная культурность!

— Двести с прицепом и отчаливай!— бросил через плечо Олег, кладя на стол последнюю трешку. На той неделе ему повезло: за ремонт мотоцикла «Ковровец» он получил с начальника почты целую десятку. Но большие ли деньги — десятка? Разлетелись все, и не заметил когда!

Жена заведующего чайной поставила перед Олегом граненый стакан с водкой — желтовато-мутной, точно это не водка была, а болотная вода. Сунула под нос и кружку пива с шапкой пены.

Шмыгая нахальным — в три вершка — носом, Филина благоверная отсчитала сдачу с трешницы и, ощерив лошадиный рот с большими, косо торчащими зубами, спросила важного ученого:

— Вам добавочка не требуется? По части выпивки или по части еды?

Ихтиолог не сразу поднял голову, тронутую сединой.

— Это вы меня? Нет, нет... решительно ничего.

Филина благоверная опять шмыгнула носом-рулем и удалилась.

— Презабавная особа? А?— глянув на Олега смеющимися глазами, спросил сосед.— Эдакая грация... м-м... а?

— Поглядели бы вы, как она с разбушевавшимися пьянчугами справляется,— ответил Олег, набираясь духу за один раз осушить весь стакан.— Трухлявый Филя и не вмешивается.

— Как, как вы сказали? Трухлявый Филя?— ихтиолог покрутил львиной головой и засмеялся.

«Надо сматываться,— подумал Олег, с отвращением глядя на свой стакан.— Каким недобрым ветром меня занесло в эту вонючую дыру?»

Когда он, крикнув, поставил, нет, скорее бросил на стол пустой, глухо звякнувший стакан, ихтиолог восторженно воскликнул:

— А вы, сударь, молодчина!

Олег собрался было послать этого «научника» по рыбной части куда-нибудь подальше, да не успел: дверь чайной распахнулась, и на пороге появился тучный лысый тип с подбитым глазом.

«Хо-хо! И верзила ж!» — подивился Олег, уже забыв про своего общительного соседа.

А тучный тип в это время громко откашлялся и запел, держа перед собой измятую, потерявшую всякий цвет шляпу:

Красотка покинула детку,
Кудрявую девочку-дочь,
И с бравым усатым грузином,
Как молния, канула в ночь...

Голос у бродяги был дребезжащий, слезливый. Казалось, пел не мужчина с осанкой силача, а худенькая, болезненная девчурка-подросток.

Филина благоверная уже направилась было к двери, чтобы выставить непрошеного певца, но на нее зыкнула одна из девиц шумной заезжей компании:

— Мамашка, не смейте его трогать!

Лохматые парни, уже изрядно захмелевшие, тоже дружно заревели:

— Свободу народным талантам!

— Топай к нашему шалашу!

Ихтиолог неторопливо достал из кармана пиджака скрипучий кошелек. Порывшись в нем, извлек смятую рублевку. И бросил ее в шляпу проходившего мимо тучного бродяги.

Олег рывком отодвинул от себя расплескавшуюся кружку с пивом. Встал.

«Откуда, ну, откуда, в самом деле, несет сюда нелегкая эту прожорливую саранчу? — негодовал он, шагая по улице. В отяжелевшей голове шумело. — Посидеть спокойно, подумать о своей нескладной жизни и то негде. Ну, и жизнь — отравка! Такая скучища, а впереди... а впереди целая ночь. Соньку, что ли, повидать... как-никак, а баба она веселая!»

И вдруг на перекрестке улиц он увидел грудастую Соньку — она шла ему навстречу. Легка же бабочка на помине, ничего другого не скажешь! Нарядная, до крайности

беспечная, шагала она бодро, как бы порхала, отмахиваясь от комарья кисейным шарфом.

«Окликнуть или свернуть за угол? — замедляя шаг, спросил себя Олег. — А может, она сама позовет? Неужели нисколечко не соскучилась?»

По дороге мчался, пыля, грузовик. Еще миг-другой, он поравняется с Сонькой, а потом обгонит ее, пронесется и мимо Олега.

«Притворюсь-ка в стельку пьяным, — решил внезапно Олег. — Проверим, любит меня Сонька или уж остыла».

И Олег, выделывая ногами замысловатые коленца, игриво запел:

Э-эх, Самар-ра-а гар-радок,
Беспакойная я...

Когда же машина поравнялась с Олегом, он бросился ей наперерез. Он собирался лишь напугать Соньку, но чуть и на самом деле не попал под тяжелый грузовик с кирпичом.

Расторопный шофер рванул машину влево, и Олег, ударившись плечом о лязгающий борт, упал. Несколько минут лежал он вниз лицом, окутанный облаком едучей пыли, все еще надеясь на Сонькино мягкосердечие. Но она не только не подошла к распластавшемуся посреди дороги Олегу, она протопала мимо, даже не оглянувшись.

— Баламута задавили! Плугаря... Ходячую жердь машина смяла! — уже горланили сорванцы, несясь со всех концов улицы к месту происшествия.

Превозмогая боль в плече, Олег поднялся на ноги. Злобно цыкнув на мальчишек, он поплелся домой — чумазый, весь вываленный в пыли.

— Стерва! — шептал он искусанными в кровь губами. — Ну, и стерва! Видать, вправду с Тишкой спуталась... Только пусть знает — Плутарев ей это так не спустит!

XIII

Ленька Шитков, распираемый жгучим любопытством, отыскал Олега на погребнице.

Село изнывало от полуденного, нещадно палящего светила, а здесь, в зеленовато-янтарном прохладном полумраке, казалось, был открыт филиал рая местного значения. И в этом раю блаженствовал Олег, развалясь на тулупе.

Когда проныра Ленька, обежав весь двор, догадался все же заглянуть на погребницу, Олег сладко спал.

«Или только притворяется?» — подумал недоверчиво Ленька. Ему пришлось раза три подергать Олега за голую ногу, прежде чем тот нехотя заворочал головой.

— Кто там? — пробурчал Олег, с трудом разлипая губы. — И поспать не дадут безработному человеку!

Пыхтя, Ленька влез на погребницу.

— Дверь прикрой! — все еще сонным голосом проговорил Олег и повернулся на другой бок. — Хочешь подремать — пристраивайся. Места хватит.

Ленька снова потянул Олега за ногу.

— Да ты что выдумываешь? Кто это днем дрыхнет?

— Сказал тебе русским языком: безработные! — огрызнулся Олег, не открывая глаз.

— Брось дурить! Ты вот послушай... околеешь со смеху! Все Актуши от мала до велика только об этом и судачат!

И Ленька захихикал, прижимая к животу ладони.

— Эх, Ленча, Ленча, и прилипчив же ты! Как банный лист! — Олег сел, протирая кулаком глаза. — Что у вас там за столпотворение?

— Ну, эту, твою... бывшую, значит, на Светлужке с Тишкой накрыли, — зачастил азартно Ленька. — У Аришкиного омута... ну, у того, одичалого, в котором после войны девка Мишкиных утопилась. В этом как раз месте они оба голышами и плескались в свое удовольствие!

Олег покачал большой, взлохмаченной головой, позевнул лениво.

— Я что-то спросонок не пойму... кто с Тишкой купался?

— Да опять же Сонька — отчаянная головушка! Кто же еще на такое отважится! — Ленька снова залился смешком.

— Сонька, говоришь? Враки! Или ты не знаешь, какая она трусиха? Она на километр не подойдет к берегу! Да только ли она змей боится? Весь женский пол...

Ленька нетерпеливо перебил Олега:

— Все змеи на Уркину гору уползли. Наша соседка, тетка Глафира, сказывала: забрела она слепопозавчера... тьфу, ты — третьеводни! Забрела она третьеводни на Уркину гору — за земляницей ходила, а ее голая вершина вся гадюками кишит. Свадьба, видно у них... клубками перевились, тошно даже смотреть. Так что теперь не один

ты, герой, а все, кому охота, стали бултыхаться в Светлужке.

Повалившись опять на тулуп, Олег спросил — все еще недоверчиво:

— А как же их накрыли?

— Бельишко ихнее какой-то хват припрятал. Вот из-за чего сыр-бор разгорелся! Хватились они одежки, а ее и след простыл. Мечутся туда-сюда по берегу, а тут и пацанята набежали. Не то мальчишкам кто-то шепнул, не то сами случайно наткнулись на голую парочку в бедственном положении. А уж когда муженек Соньки прикатил на мотоколяске, Тишка на тот берег переплыл и огородами, все огородами, прикрывая рукой срам, домой прокрался. Сонька, естественно, заявляет муженьку: «Купалась одна и сном-духом никакого Тишку не видела, а бельишко, дескать, слямзил кто-то». Но Вася, он мильтон с нюхом, стал шарить по кустам. Не зря люди балакают: ежели самогонщик какой или жулёк в сельповской лавке заведется, то он непременно выследит и накроет! Ну, и тут тоже... Шарил, шарил Вася и наткнулся. В дупле вяза нашёл узел. Тут тебе и Тишкина гимнастерочка с брючками, тут тебе и Сонькин сарафанчик-раздуванчик с панталончиками.

— Хо-хо! Ну и знатная историйка! — протянул Олег без особого рвения. — Вот спишь себе и знать ничего не знаешь, а люди, ишь ты, какие номерки откалывают!

— Так уж и знать ничего не знаешь? — подозрительно переспросил Ленька. Чуть выждав, прибавил: — А по селу слушок пополз... будто твоих рук это дельце пикантное. Соньке мстишь за измену.

— Я? — Олег, оскалясь, приподнялся на локте, сверкая налившимися кровью глазами. — Да я глотку за поклеп перегрызу! Скажи только, кто брешет?

Трусливо пятясь назад, к дверце, Ленька кисло заулыбался.

— Перестань! Ну, чего вылупился? Это я так... попытать тебя хотел.

XIV

Тощий, до крайности измученный болезнью, Пшеничкин помолчал, уставясь на Олега круглым, немигающим глазом. Олегу почему-то всегда казалось, даже с незапамятных — первых школьных — лет, что Семен Семеныч особенно пристально смотрит на собеседника левым —

стеклянным глазом. Отвечая, бывало, заданный урок, восьмилетний Олег старался не глядеть в продолговатое иссохшееся лицо учителя с резкими аспидными морщинами.

«Вот что наделала с человеком война,— вздохнул про себя Олег, переводя взгляд на холодные плитки больничного пола.— А говорят, парнем красавец из красавцев был. Девки по Пшеничкину с ума сходили».

— Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко,— заговорил Пшеничкин шутливо, негромко, дотрагиваясь до Олегова плеча узкой трехпалой рукой.— На той неделе меня выпишут. Потерпи чуток и не буянь. И Лукшину скажи... скажи старому — в обиду не дадим.— Он улыбнулся — задорно, ободряюще.— Я ведь тебя, Олег, еще таким вот помню. С мальчишеских лет ты горяч. Так и не удалось мне обуздать скакунка.— И кашлянув в кулак, добавил, добавил жестко, наставительно:— Я бы на твоём месте не бросал огородную бригаду. Самовольничать...

— А вы что, думаете мне не надоело две недели бить баклуши?— не вытерпев, взорвался Олег.— Я готов бревна таскать, только бы...

В коридоре появилась сестра, неслышно притворив за собой стеклянную дверь. Сказала непреклонно:

— Пшеничкин, пора укол делать.

— Да, да,— Пшеничкин заспешил, вставая. Придерживая левой рукой полы пропахшего лекарствами халата, он еще раз похлопал Олега правой, трехпалой, по плечу.— Ну, Плугарев, бывай. До скорой встречи.

Идя по двору больницы, Олег озорно подмигнул идущей навстречу девчонке — голенастой, невзрачной, бледностью и нескладностью своей так похожей на агрономову дочку Верочку, над которой он от души поизмывался в огородной бригаде. Девчонка жарко покраснела и припустилась со всех ног бегом, точно Олег собирался за ней увязаться. Это окончательно его развеселило.

— Ну, и невеста без места!— закричал он вслед улетающей козе.— А я-то посвататься хотел!

Шагая к райисполкому, где он надеялся найти попутный транспорт, Олег подумал: «Наверно, зря я беспокоил Пшеничкина... ему вредно сейчас расстраиваться. А этого гада Волобуева надо гнать из бригадиров! И как только ухитрился эдакую власть над предом занять? Ума не приложу!»

Поморщился Олег, свел сурово брови. А на замаслившихся от пота скулах заходили желваки.

После того вялого, туманного утра, когда его, Олега, хотели обманом заставить перепахать жалкие сотки старикова огорода, он ни разу не видел Петра Ильича Лукшина. Он даже обходил стороной избу Лукшина, будто и на самом деле был в чем-то виноват перед старым крестьянином. Но стоило Олегу вспомнить то утро — солнце тогда долго боролось с липкой мглой, преграждавшей ему путь к людям, как перед глазами непременно возникал разгневанным лешим Лукшин...

У двухэтажного кирпичного здания райисполкома с клумбами душистого горошка по обеим сторонам широкого крыльца не было ни одной живой души. Лишь белые куры бродили у коновязи, роясь лениво в навозе.

«Неужто по колхозам вся писучая гвардия разъехалась?» — недоуменно пожал плечами Олег, окидывая взглядом наглухо прикрытые створки окон. И лишь тут вспомнил: воскресенье нынче.

Раздосадованный Олег шуганул разъевшихся кур и побрел за город, не теряя надежды встретить на большаке какую-нибудь шальную машину.

В степи, за Брусянами, было еще жарче. Не дрожала даже листва на обомлевшей от духоты одинокой осинке, стоявшей у самой развилки трех дорог. Полосатые обленившиеся шмели, забравшись в раструбы полинялых колокольцев, разросшихся под не радующим душу деревцем, подолгу не вылезали из них, ровно прятались от пекла.

К городским окраинам подступали поля. Поля и поля до самого горизонта — текучего, как бы плавящегося на огне. Жигулевские и Сокские горы, еле приметной ломаной синь-синей полоской протянувшиеся в несусветной, обманчивой дали, тоже млели, колыхались, как мираж.

Сидя на облысевшем бугре, усеянном окурками и подсолнечной шелухой, Олег думал о Лариске. Она, эта тихая, совестливая девчонка с глазами, такими задумчивыми и грустноватыми, не выходила у него из головы.

После памятного вечера, когда Лариска наотрез отказалась ехать с Олегом в Ставрополь на концерт польских артистов, он чуть ли не каждый вечер кружил по Заречью, бренча на гитаре, все надеясь на встречу со строптивой девчонкой. Но она, затворница, не показывалась на улице. Ларискины подружки не без лукавства шептали мрачному Олегу: «Сохнет, бедняжка, над учебниками. А увлека-

тельный усатик по два раза в день носит ей толстые книжищи». «Ты уж, Олежка, потерпи,— подтрунивали над ним насмешницы.— Должны же Лариске наскучить учебные книжки? Тогда и появляйся в нашем курмыше со своей семиструнной. Авось и сбежит Лариска от усатика!»

Много раз собирался Олег проучить как следует нахального фельдшера, чтобы отбить у него охоту бегать к Лариске, да все руки не поднимались. Боялся Лариски. Боялся, как бы после этого мордобоя девчонка не отвернулась от него навсегда.

Олег так глубоко задумался, что не сразу увидел показавшийся из ложины, со стороны Сызрани, грузовик с прицепом. Машина свернула на убегающее в сторону Актушей шоссе, когда Олег, очнувшись, вскочил, замахал шоферу рукой. Но тот и не подумал останавливаться. Высунув из кабины красную пухлощеку рожу, он лишь ощерился, оголяя до ушей слепяще белые зубы.

«Ах ты, молекула несознательная!» — выругался про себя Олег и бросился вслед за машиной, уже скрывшейся в клубах пыли.

На последнем издыхании вцепился он мертвой хваткой в хлябающий борт прицепа. С минуту, наверно, висел Олег на руках, собираясь с силами. Но вот перекинута через борт правая нога, а вот он и сам повалился грузным снопом в кузов на мешки с мукой.

Отдышавшись, Олег поудобнее устроился на самом верхнем мешке. Глядя на буйное море наливавшей колос пшеницы, желтеющей знойно и ослепительно, он запел. Без слов была эта тягучая, прямо-таки калмыцкая, песня тоски и отчаянья...

До Актушей оставалось километров семь, не больше, когда грузовик повернул вправо, к нефтепромыслу. Спрыгнув на повороте, Олег помахал шоферу ногой. А отряхнув брюки от прилипчивой мучной пыли, зашагал бодро в сторону Актушинского бора.

Не прошел Олег и двухсот метров, как его догнал на двухколесной повозке кузнец дядя Кирилл. Остановив каурю кобыленку, кузнец молча кивнул Олегу: «Садись, места хватит!»

— Откуда, дядя Кирилл? — спросил Олег, усаживаясь рядом с кузнецом на охапку сочной хрусткой травы. Он, признаться, не ждал ответа.

Но дядя Кирилл, к изумлению Олега, прикурив от зажигалки погасшую самокрутку, коротко обронил:

— От Юркова.— Почмокав губами, добавил:— Н-но, сухолядая!

Кобыла покорно затрусилла, куцым хвостом отмахиваясь от надоедливых слепней.

— А что там у Митюхи?— не унимался Олег.— Поломка какая-нибудь?

Кузнец взмахнул поцарапанной рукой в черных точках от въевшегося масла.

— Теперь исправно тарахтит!

Два пальца на руке дяди Кирилла были обмотаны изоляционной лентой.

«Давно... эх, и давно ж я не виделся с Митюхой!— подумал покаянно Олег.— Непременно завтра сбегаю к нему на стан. Авось пустит на трактор проветриться... пока никого из посторонних поблизости нет. А то руки... руки у меня совсем истосковались по работе».

Как бы стыдясь кузнеца, он зажал между ног свои руки — большие, шишकाстые, такие сейчас непривычно белые. Белые и мягкие.

Горы на горизонте росли, ширились, принимая все более четкие очертания. Лишь только самые дальние хребты все еще пронзительно синели. Выставшие же прямо перед глазами утес за утесом все время меняли краски. Вначале горы густо лиловели, когда же слева показалась вышка-раскоряка на холме Усладинского кордона, склоны отрогов стали отливать малахитом, а обнаженные кручи вершин слабо заалели.

«Иные чудаки в отпуск непременно в Крым али на Кавказ отправляются,— усмехнулся про себя Олег, глядя поверх лошадиной головы на Жигули,— а нашей, тутошней, красоты не видят. Смехота, да и только!»

И сердце у него вдруг переполнилось такой необъяснимой окрыляющей радостью, что захотелось или обнять всю эту родную с пеленок землю, или загорланить старинную — самую любимую песню матери, песню удалую, разбойничью:

Еще как-то нам, ребята, пройти?
Астраханско славно царство пройдем с вечера,
А Саратовску губерню на белой зорьке.
Мы Самаре-городочку не поклонимся,
В Жигулевских горах мы остановимся.

...Олег первым заметил сероватое облачко на дороге. Облачко круглилось, росло, точно снежный ком.

— Грузовик катит,— сказал Олег, не поворачивая головы к дяде Кириллу, скрутившему себе новую сигарку.

Кузнец промолчал. Мало ли за день пронесется по шоссе разных машин. Попробуй, пересчитай! Но некоторое время спустя, вытягивая шею и глядя упрямо вперед на приближающийся грузовик, нагруженный выше кабины сеном, дядя Кирилл недоуменно пробурчал:

— Какие ж это головы сенцо-то турятся разбазарить?

Миг-другой и Олег пристально всматривался вперед. Неожиданно он выхватил из Кирилловых рук вожжи и, понукая кобылку, развернул повозку поперек дороги.

— Баламут, под ребро тебя дышлом! — ~~закричал встре-~~воженно кузнец, пытаясь вырвать у Олега вожжи. — Под машину хочешь угодить?

— Не трожь! — увертываясь от кузнеца, взревел Олег. — Разуй глаза... Тишка в кабине... Волобуевский племяш! Неладным тут пахнет!

Машина приближалась, и шофер принялся настойчиво сигналить, требуя убираться с дороги.

— Стой! — зыкнул Олег, выпрыгивая из повозки. Он встал посреди шоссе, широко раздвинув свои длиннущие ноги, и теперь, казалось, никакая сила не сдвинет с места этого упрямого, своевольного парня.

Пронзительно скрипя тормозами, грузовик замедлил ход. Остановился он всего в нескольких шагах от не моргнувшего глазом Олега, обдавая его волной горячей, угарной пыли.

— Растуды вашу мать, вы чего озорничаете? — заорал бешено шофер, высовываясь по плечи из кабины. Большие потемневшие глаза его недобро сверкали. — В милицию захотели?

— Остынь малость, — спокойно проговорил дядя Кирилл. Твердо поставил на железную приступку ногу и так же спокойно спросил: — Куда наше сено волокете?

Сбавляя прыть, шофер угрюмо проворчал:

— Его вон спрашивайте. Мое дело маленькое.

Заметно побледневший Тишка, все еще пытаясь храбриться, набросился на Олега:

— Ты, Плугарь, давно бандитизмом на большой дороге занимаешься? Видать, маловато тебя в кутузке держали! Еще захотел, баламут непутевый?

Тоже бледнея, Олег тяжело, снизу вверх, посмотрел на Тишку. Их разделяла всего-навсего железная дверца. Вначале могло показаться: сейчас рванет Олег эту дверцу,

схватит Тишку за ворот отутюженной гимнастерки и выволочет его на пыльную дорогу. И в кровь измордует гладкого, луноглазого малого. Но Олег сдержался, пряча за спину набрякшие тяжестью кулачищи.

Тишка же, не выдержав его испепеляющего взгляда, отвернулся. Обращаясь к кузнецу, он, заикаясь, заюлил:

— Кирилл Силаич! У меня разрешение правления. Я... я не самовольно. Сено для нужд се-сельпо...

— Бумажку кажи, — потребовал дядя Кирилл.

— Один момент. Я... я сейчас, — Тишка зашарил по карманам дрожащими пальцами — Где же она... Эх, растяпа! Дома, видать, у мамыши оставил... Да вы, Кирилл Силаич, можете с дороги прямехонько к нам завернуть. Вспомнил: на кухонном столе забыл бумаженцию. Член правления Волобуев ее подписал.

Сухопарый кузнец потемнел лицом. Сдвинув на затылок насквозь промасленную кепчонку, он с презрительной беспощадностью протянул:

— Со-опля! Уворовать... и то путем не смогли со своим дядей!

Сплюнул под ноги. Распорядился:

— Садись, Олег, в кабину. Тишка пущай ко мне в таратайку лезет. А ты, миляга, прямиком к сельсовету гони своего скакуна. Мы за вами поспешать будем.

XV

Из-за о-остра-ава-а на стре-эжень,
На-а пра-остор-р р-речно-ой волны—

вдруг заорал что есть мочи Олег, приглашая взглядом парней и девок, тесно сидевших вокруг стола, подхватить удалую. И песню подхватило сразу несколько голосов:

Вы-ыплыва-али ра-распи-исные
Сте-эньки... Стеньки Ра-азина-а- челны...

Но Олег, забыв уже про песню, полез целоваться с виновником торжества — самым закадычным другом детства чубатым Пашкой Емелиным, прикатившим нежданно-негаданно в отпуск из далекой Сибири.

— Пашка, ты мне друг али не друг? — обнимая широко раздавшегося в плечах краснощекого здоровяка, вопрошал Олег. — Скажи че-честно: друг али не друг?

— Самый наипервейший! Во-о какой ты мне друг! —

И Пашка, тоже изрядно захмелевший, облобызал троекратно Олега в мокрые губы. А потом тряхнул черночубой головой, тряхнул отчаянно и загорланил на всю горницу:

Из-за о-острова-а на стре-эжень...

Олег всхлипнул от переполнивших его душу радостных чувств. Никому не известный раньше Пашка Емелин, одноклассник Олега, в прошлом году уехавший по комсомольской путевке чуть ли не на край света, теперь прославленный на всю трассу Абакан—Тайшет передовик-путеец!

И опять обнимая ~~своего~~ своего Пашку, Олег загудел ему в лицо:

— А меня, др-руг Па-аша, возьмут на трассу? А?

На зубах Пашки похрустывал пупырчатый огурчик.

— Запросто!— кивнул он и потянулся за пирожком с ливером.— Со мной — за-апросто!

— Да-даже без путевки?— не отставал Олег.— И без путевки возьмут?

— Мигом оформим!— Пашка покровительственно похлопал Олега по спине.— Главное — готовь чемодан. Через недельку вместе укатим!

И сунул Олегу в рот надкусанный пирожок.

Кто-то из парней насмешливо прокричал:

— Не-е, мы своего героя не отпустим! Ты, Павел, знаешь, чего нынче днем Плугарь отчубучил? Тишку с ворованным сеном задержал!

Олег протестующе замахал руками:

— Не один я! Мы с дядей Кириллом... мы с ним субчика заарканили!

Вдруг сидевший по другую сторону стола чубатый большелобый детина в косоворотке постучал вилкой по граненой рюмке, требуя тишины.

Глянув на чубатого, Олег дурашливо ахнул:

— Ты, комсомольский секретарь... откуда ты тут взялся? С неба упал?

— Помолчи, погремущка!— поморщился тот. И, обращаясь к ребятам и девчатам, сидевшим за столом, так же спокойно, не повышая голоса, сказал:— Завтра открытое комсомольское собрание созываем. Попросим председателя выступить... о ходе сенокоса и подготовке к уборке. Поставим ребром вопрос о Волобуеве... Не забудем и тебя, безработная единица.— Чубатый строго посмотрел на Олега.— Так что не очень-то геройствуй.

— Не боюсь!— с отчаянной лихостью выкрикнул Олег.

Вскочил и, выбивая ногами чечетку, посыпал скороговоркой:

Мою милую венчали,
Я под лавкою лежал...

Не сразу остановила Олега мать Пашки — тихая, не приметная тетка Мариша с темным ликом скорбной великомученицы.

— Олег! Да постой ты, Олег!.. Я чтой-то сказать тебе хочу.

Пригнула его непослушную голову, зашептала тревожно на ухо.

Остолбенел Олег. А потом бросился из горницы вон. Ему навстречу шла Клаша — замужняя сестра Пашки, неся огромное блюдо с янтарно-розовеющим поросенком, украшенным бумажными цветами. Клаша не успела посторониться, и Олег вышиб у нее из рук глиняное блюдо.

Не оглядываясь на поднявшийся в горнице гвалт, Олег выбежал в сени, распахнул во двор тесовую дверь.

Над Актушами уже властвовала ночь. Такая по-осеннему черная, густая нависла темь, что ее, думалось, можно было резать ножом, как студень.

— Кто тут... меня кликал? — спросил Олег, не узнавая своего голоса.

Откуда-то сбоку, из-за сеней, он услышал шепот:

— Подойди сюда... это я, Олег.

— Лариска! — вскричал ошалело Олег и спрыгнул с высокого крыльца на землю. — Где ты, Ларис?

Кто-то прикрыл ему ладонью рот.

— Молчи! И шагай за мной.

На заднем дворе, у коровника, остановились. На Лариске был тонкий, шуршащий плащик. Тяжелый платок низко спускался на лоб.

— Ларис, ты ли это? — все еще не веря случившемуся, спросил Олег.

Взяв его за отвороты пиджака, Лариска горячо зашептала:

— Не ночуй, Олег, нынче у себя на сеновале... Я тебя... Я тебя очень прошу: оставайся до утра у Павлика. Поостерегись!

Весь хмель с Олега как рукой сняло.

— Ты говоришь... поостерегись? Мне? — растерянно пробормотал он, ничего не понимая. — Что с тобой, Лариса?

Приподнявшись на цыпочки, Лариска едва не коснулась губами Олегова подбородка.

— А ты слушай! Волобуев со своим племянном Тишкой... они проучить тебя собираются. Сонькин Вася протокол на них составил и, может, завтра в район отправит, а они нынче ночью... отомстить тебе собираются.

И Лариска, отпустив Олега, толкнула его в грудь:

— Заночуй здесь, Олег!

Накрапывало. Какое-то время Олег стоял окаменело. Лариске показалось — минула вечность. Но вот Олег жадно хватнул раскрытым ртом воздух и, поводя пятерней по мокрому лицу, ~~моляще, еле сдерживая душившие его слезы~~, прерывисто прошептал:

— Спасибо тебе, Ларис. Я... я не из пугливого десятка. Но я никогда этого не забуду. Дай только мне... хоть руку свою, Ларис...

А когда она, чуть помедлив, протянула Олегу холодную свою руку, пахнущую и дождем, и ландышами, он поднес ее к дрожащим губам. И, совсем неожиданно для Лариски, поцеловал.

ДАШУРА

•

ПОВЕСТЬ

Бывают такие редкие, особенные натуры, которые приходят в мир, не ведая зачем, и уходят из жизни, так ничего и не поняв. Жизнь всегда, до последней минуты, представляется им бесконечно прекрасной, настоящей страной чудес, и если бы они могли только в изумлении бродить по ней, она была бы для них не хуже рая.

Теодор Драйзер



Глава первая

Злой, неумный северняк всю ночь остервенело громы-хал тяжелой калиткой. Заезжий дом стоял чуть в стороне от села на высоком обрывистом мысу, с видом на Волгу, и уж здесь, на просторе, разгулявшемуся буяну было раз-долье.

Спала Дашура беспокойно, часто вздрагивая и открывая глаза. Приподняв с подушки растрепанную голову, она настороженно прислушивалась.

Стонали старые ветлы на берегу — безжалостный ветер гнул, пригибал к земле ветви: так палачи заламывают людям руки. А над Волгой стоял заунывно-протяжный гул. Три дня назад, поздним вечером, она, матушка, наконец-то тронулась. И с тех пор ярятся льдины, то играя в чехарду, то обгоняя друг друга. Ревут на суводях быстрые струи, сшибая лбами многопудовые ледяные глыбищи.

Случалось, едва лишь забывшись, Дашура вскоре вскакивала, разбуженная оглушительным грохотом.

— Боже мой, чка, видать, ухнулась, — шептала жалостливая Дашура, приходя в себя. На какой-то миг она переносилась на берег Волги: вот огромная чка с дьявольской нахрапостью наползает на отвесный глинистый мыс. Тяжелую глыбу подпирают, теснят другие льдины, и вот она, вскинувшись на дыбы, будто белуга, вдруг со всего маху обрушивается в реку, оглашая окрестность артиллерийским залпом.

Принимался возиться Толик, почмокивая губами. Заботливо прикрыв голые руки сына одеялом, Дашура, вздыхая, укладывалась и сама.

«Лишь бы крышу с веранды не снесло. По осени приколачивала железо гвоздями, да какой из меня кровельщик!» — думала она, сладко зевая. Едва же роняла на подушку голову, как с бешеной стремительностью летела в бездонный черный омут, опережая ледяные глыбы, тоже низвергавшиеся в беспросветную бездну.

В полночь Дашуру поднял на ноги истерический вопль:

— Дашенька! Дашу-ура!.. Да проснись ты...

По тонкой дощатой двери замолотили кулаками. И снова надрывный крик:

— Даш-ша! Ой, мне стра-а-а... ой!

Не сразу нашарила Дашура на спинке железной кровати байковый халатик, не сразу нашла в простенке выключатель. И лишь когда у потолка затеплилась лампочка, дрожа малиновыми волосками, Дашура отодвинула ржавую задвижку.

Дверь настежь распахнулась, и в комнату влетела Астра — единственная гостья заезжего дома.

На высокой девице болталась балахоном, чуть не спадая с худущих плеч, слишком просторная кроваво-алая шуба, а на голых крупных ногах с шишковатыми лодыжками красовались остроносые туфли на шпильках.

— Ты куда в глухую эдакую-то пору снарядилась? — спросила Дашура довольно-таки спокойно, стыдливо заправив на груди свой латаный-перелатаный халатик. За пять лет работы в Осетровском доме для заезжих она повидала много разных постояльцев и теперь ничему не удивлялась. — А я только что распалась. И такой жутко загадочный сон вижу...

— Дай мне веревку, — все так же возбужденно, отрывисто и хрипло, выкрикнула Астра, не слушая хозяйку.

— Какую... веревку? — Дашура попятилась к постели. В злые, сумасшедшие глаза девицы, еще утром казавшиеся такими невинными, нельзя было без содрогания смотреть.

— Или бельевой шнур, — продолжала та. — Я повешусь. В комнате крючок на потолке...

— Хватит комедиянить! — уже сердясь, оборвала Дашура постоялицу. — Тут не кино. Посидите у подтопка... погрейтесь.

Сцепив на затылке руки, Астра застонала.

— Он же, подлец, бросил меня! Завез в какую-то дыру и бросил! Я даже домой уехать не могу... за душой гривенника нет!

Дашура приставила к горячему еще подтопку табурет.

— Подсаживайтесь. Тепло, оно, знаешь... и душу отогревает. А нынче эвон какая ералашная ночь. Весь живой дух к утру выдует из нашего дворца.

Как ни злился, как ни хорохорился всю ночь пахальный северяк, но под утро стал выдыхаться, и его перехитрила набравшая силы весна, заслав с моря солоновато-прелый ветришко. Он и поборол, сшиб с ног строптивного северного гостя, он-то на рассвете и разодрал в мелкие клочья продымленные тучи, не сулившие людям ничего доброго. И на тебе — тут, и там — стала проглядывать ласковая просинь. А когда из-за противоположного песчаного берега с ржаво-вишневыми щетинистыми зарослями вербовника по гребню выкатилось безбоязненно неистово огненное солнце, в оврагах и ярах закурился паром хрусткий ледок, сковавший ночью ручьи. Сверкающими слезинами облилась и прошлогодняя трава, жавшаяся вдоль реденького плетня, огораживающего двор заезжего дома. Из скворечника над сараем выпорхнул молодой скворушка. Устроившись на голой рогульчатой ветке, он резво заморгал жуковыми крылышками, прочищая горло переливчатым свистом.

В это утро Дашура затеяла большую стирку. На прошлой неделе здесь, в Осетровке, проходило совещание строителей, и в старом доме на отшибе было тесно от приезжих. Раскладушки пришлось ставить даже в коридорчике и проходной комнате — «гостиной», где обычно постояльцы закусывали и резались в карты и домино. И белья для стирки накопился порядочный узел.

На кухне у Дашуры топились печь и плита. Вода грелась и в железном баке, и в чугунах, и в ведрах. Из внушительного титана тоже валил пар.

Невысокая, по-девичьи ладная, легкая на ногу, Дашура, казалось, без особого напряжения канителилась у своего большого корыта, успевая вовремя и усмирить разбушевавшийся титан, и подбросить кизяк в пышущее зноем золотое чрево плиты.

А когда вешнее солнце принялось отогревать истосковавшуюся по теплу и человеческим рукам землю, Дашура уже развешивала во дворе простыни, слепящие своей веселой белизной.

Не забывала Дашура выбегать и на улицу, чтобы приглядеть за Толиком. Не долго ведь неразумному глупышу и под яр свалиться — берег-то вот он, рукой подать!

Но Толик все утро увивался возле деда Федота, сторожа керосиновой лавки, с давних пор помещавшейся в

древней церквушечке, на пологом бугре, чуть в стороне от дома для заезжих. В погожее ясное утро эту малую церквушку с тонюсенькой островерхой каланчой видно было на много километров окрест. Одинокiй дед жил тут же, в церковном приделе, где когда-то в зимнюю пору грели воду для крещения младенцев.

Федот — односельчане за глаза звали его отцом Серафимом — конопатил свою лодчонку, такую же старую, как и он сам, а Толик вьюном вертелся вокруг.

Мальчик не мог и дня прожить без мужского общества. Еще совсем недавно Толик бросался навстречу любому незнакомому мужчине, едва переступившему порог заезжего дома. Вперял в него черные немигающие глазищи: «Ты моего папу не встречал?» Большого терпения стоило Дашуре отучить сынишку от этой стыдной привычки.

Поглядев из-под руки на своего непоседу, козликом скакавшего по обсохшему берегу, успокоенная Дашура возвращалась во двор.

Раз как-то Толик сам прибежал к матери, победно размахивая палкой, словно острой саблей. Солдатская шапка с растопыренными ушами наехала на темные стежки бровей с крутым, не детским, изломом. Из красного, с седловинкой носа выглядывала зеленая сопелька. Руки, тоже густо-огнистого цвета, торчащие из коротких рукавов куцего пиджака в заплатах, были вымазаны в смоле.

— Мам,— сказал с хрипотцой разгоряченный Толик,— дай мне хлебца с сахарком.

Присев перед сыном на корточки, Дашура сначала вытерла ему нос полой пестрядного передника. Потом поправила на шее шарф из козьего пуха, своей вязки, почти совсем невесомый, осунула назад шапку, обнажая светлый чистый лоб, пока еще не изборожденный житейскими морщинами.

Глядя Толику в его огромные, почти всегда вопрошающие, черные глаза, чернее той смолы, в которой вымазал он руки, Дашура вздохнула. И чуть помешкав, строго спросила:

— Лыдышку сосал, сынарь?

Толик замотал головой. Длинные лямки шапки, свисавшие на его худенькие плечи, тоже задергались, будто крысиные хвостики. Шапку эту подарил мальцу как-то по осени демобилизованный солдат, целую неделю понапрасну увивавшийся вокруг Дашуры.

— Лыдышку не сосал, а отчего ж сипишь гусаком?

Помолчал-помолчал сын, кося глазом на белого грудастого петуха, царственно шагавшего по двору, и тоже со вздохом проговорил:

— От воздуха... Дед говорит, чичас самый ядреный воздух.

— Не «чичас», а сейчас... Ох, уж вы мне с дедом! Может, чаю хочешь? Не застыл?

— Не-е...

А когда мать направилась к широкому крыльцу, Толик крикнул:

— А ты и деду... ему тоже не забудь, мам!

К большеголовому, тощему Федоту в лохматом собачьем треухе Толик подскакал на одной ноге. В обеих руках он держал по ломтю хлеба, присыпанных сверху негусто сахарным песком — крупным и серым, как неочищенная соль.

— Держи, на,— сказал Толик, великодушно протягивая деду большой ломоть.

Прежде чем принять от мальчишки этот ломоть ноздреватого, утренней выпечки хлеба, Федот вытер о брезентовые — заскорузлые и негнущиеся — штаны руки, тоже негнущиеся. А потом снял треух и не спеша перекрестился, глядя на церковный крест, золотившийся в мягко оплывающей небесной лазури.

Старый и малый присели на лодочные слани, сложенные пирамидой, и Федот долго и медленно жевал хлеб, осторожно отщипывая от ломтя кусочки мякиша.

— Хлебушко-то... того самое... ничего себе, даром что недомашний,— проговорил он, глядя то на проплывающие по Волге грязные льдины, то на костер неподалеку от перевернутой вверх днищем лодки. Бесцветные на солнечном свету языки пламени лениво лизали котелок с булькающей чадной смолой.— Конечно, далеко ему до бывалошнего... того самое... своей выпечки. Бывалоча, матушка-кормилица сразу две квашни затевала. Семейство-то было из пятнадцати душ! Как сейчас помню: вынимала раз матушка папошники из печи... один воздушнее другого, и вбегает тут в избу отец. «Мать, кричит прямо от порога, беда-то какая!» А сам, сердечный, трясется... ну, что тебе осиновый лист. А детинушка-то был, скажу тебе. Теперь эдакие мужики в редкость! Матушка оглянулась, а отец все на пороге стоит, слезы кулаком вытирает. «Лысуху напу, говорит, волки в лесу задрали».— Подобрал с колен крошки, Федот бросил их в беззубый рот.— «Одна кожа да ко-

сти от Лысухи остались». А сам, отец-то, как осиновый лист, все дрожит.

— А почему?— спросил Толик, давно уже расправившийся со своим ломтем и теперь скучавший от ничегонеделанья.

— Чего — почему?— ворчливо переспросил дед, не любивший, когда его перебивали.

— Почему... как осиновый лист?

— Всегда на осине дрожит лист. Даже в самую что ни есть безветренную погоду.

У Толика еще резче надломились брови. И он весь повернулся к деду.

— А почему?

— Экий надоедник, прости господи!— Дед покачал головой и продолжал с прежней ворчливостью:— Да потому... того самое... Иуда, который предал Христа за тридцать сребреников, на осине повесился. Не мог Иуда пережить своего черного злодейства. С тех самых пор, значить... с давности незапамятной, и дрожит на несчастной осине лист. Тишь райская, ни ветерка тебе, ни дуновения, а лист на осине мелко-мелко дрожит... из века в век дрожит!

— Это ты сказку рассказываешь?— спросил Толик и надул губы.

— Ну да, сказку,— помолчав, вздохнул дед, уже смягчившись сердцем.— Вот помру я, а ты вырастешь... вырастешь... того самое и станешь своим детям про меня рассказывать. Ну, про то, допустим, как я тебя, кутенка, этой зимой из полыньи вытащил. А глубь в том месте знаешь какая? Церковь с колокольной ухнется, и креста не увидишь. Во-о! Ну, и станешь про все это балакать, а они, детки-то, тоже спросят: «Ты, тять, нам сказку рассказываешь?»

Федот вдруг закашлялся. Кашлял он долго, надрывно, и в груди у него что-то гудело, словно палкой колотили по пустой бочке.

Глава вторая

Ведерный этот самовар — весь прозеленевший и с помятым боком — Дашура купила дешево позапрошлым летом. Стоило же Дашуре испробовать старорежимного туляка, как выявился и еще один существенный его брачок: внизу, у трубы, сочилась вода. Угли шипели и не разгорались.

Пришлось Дашуре просить Бронислава Вадимыча Киршина, мастера из судоремонтного завода, умельца на все руки, починить самовар. А тот не только пропаял всю трубу, но и вмятину на боку выправил. Заменял он и старые деревянные ручки — в щербинках и трещинах.

Получив самовар из ремонта, Дашура принялась надраивать его порошком из тертого кирпича. Дашура сама даже не помнила, сколько раз тютюкала она тяжелый самоварище. И самовар наконец-то засиял. Теперь он выглядел спесивым, неприступным чинушей с медалями во всю свою медную грудь.

Было бы сподручнее, без лишних хлопот, кипятить для постояльцев титан. Наливайте в алюминиевый чайник крутой кипяточек и пейте на здоровье! Но Дашуре полюбилось угощать залетных гостей по старому русскому обычаю. Поставит Дашура на стол сверкающего туляка, азартно и неумно kloчущего парком, заварит в белом, с васильками, чайничке щепоть грузинского, и в комнате вдруг становится как-то веселее и уютнее. Самовар выводил чуть ли не страдания, и чужие друг другу люди, иной раз впервые попавшие в Осетровку, заметно преображались: добрели, отходили сердцем.

Даже в те редкие тишайшие денечки, когда не бывало постояльцев, Дашура непременно ставила под вечер самовар и приглашала чаевничать или деда Федота, или ближайшую соседку, многодетную тетку Меланью, жену рыбака Буркина, первейшего на селе пьяницы. Эта самая Мелаша, полная, незлобивая баба, доводилось, и ночевала у Дашуры со своим выводком, когда непутевый ее муженек устраивал дома погром.

Не забыла Дашура свой самовар и нынче. Еще не все белье было отутюжено, а он, меднолобый, уже начинал что-то неразборчиво лопотать, будто учился говорить.

«Ну, право слово, как живой! — думала Дашура, бойко водя горячим утюгом по бязевой, чуть волглой, простыне. — Авось еще схлестнутся наши с Егором пути, и кто знает, может... может, он и остепенится, образумится, увидев Толика. И заживем тогда мирно, душа в душу. И тут уж без самовара... без него, песенника, никак не обойтись семье! — На минутку Дашура опустила утюг на подставку. — Мы, волгари, все чаевники. Припоминаю, у них, у Томилиных, тоже был самовар. И он, Егорка, бывало, выдувал за один присест чашек шесть, а то и более!»

Покончив с бельем, Дашура долго умывалась холодной

водой: на кухне было жарко, и у нее горели щеки. А расчесывая волнистые, цвета спелого желудя волосы, она негромко что-то напевала себе под нос...

И уж принарядившись в серое штапельное платье с сине-зелеными и янтарно-желтыми колечками и витушками, Дашура принялась накрывать в «гостиной» стол к чаю. Нарезанный аккуратными ломтями калач, тарелка с кусками рыбного пирога, мелко наколотый сахар в вазочке... Вот, кажется, и все, что смогла поставить на стол хлебосольная Дашура.

Водрузив самовар на почетное место, она побежала за калитку, не прикрыв даже платком голову.

— Федот Анисимыч! Толик! — прокричала весело Дашура, махая оголенной до локтя рукой. — Ну-ка, идите чай пить!

Большеголовый и длинношей Федот из приличия стал отнекиваться, пока Дашура не притопнула ногой:

— И как вам, Федот Анисимыч, не совестно ломаться?

Тут дед сразу же сдался, пообещав «в один момент прикончить все свои дела несуразные».

Дашура разливала по чашкам чай, когда в гостиную вышла Астра.

— Милости просим к нашему столу, — приветливо кивнула Дашура. — А я уж собиралась заглянуть к вам. Неужели, думаю, все никак не отоспятся после ужасливой ночи?

— Ну что ты, Даша, я давно проснулась, — сказала та, запахивая на груди тяжелый шелковый халат. — А когда ты кормила кур, я и по улице побродила... недолго, правда.

— Вот и славненько, — кивнула хозяйка. — Присаживайтесь, всем места хватит.

Прежде чем подсесть к столу, Астра попыталась взглянуть на себя в зеркало, висевшее в простенке, над самоваром, но оно все молочно запотело. Выглядела сейчас заезжая гостя посвежевшей и бодрой. Голубые глаза, в последние два дня глубоко провалившиеся, снова смотрели на мир невинно и наивно.

— А это так шикарно... пить чай из самовара! — сказала девица, улыбаясь одними губами. И добавила: — Говорят, раньше дворяне распивали чаи из серебряных и золотых самоваров.

— Так он у меня тож из золота! Медного только! Вон сколь медалей на себя нацепил! — Дашура заулыбалась.

На ее слегка запунцовевших щеках появились усмешливые ямки.

Расправившись с двумя кусками пирога, Астра принялась за чай. А немного погодя, пуская к потолку зыбкие колечки дыма, она вдруг заговорила. Непринужденно и даже чуть кокетливо:

— После десятилетки мне, как и многим, не повезло с институтом. С полгода я загорала от нечего делать, а потом... а потом родитель сунул меня в одно скучнейшее научное учреждение. Числилась я там лаборанткой. Родитель у меня очень и очень обеспеченная шишка, и семья могла бы обойтись без моей полсотни, но предки не хотели, чтобы я, мягко выражаясь, была предоставлена улице.

Девушка скосила глаза на кончик сигареты и, перебивая себя, с едкой усмешкой сказала:

— И до чего ж я докатилась! Пошлепала нынче на угол и выклянчила три сигаретки у проходившего мальчишка. Симпатичный такой малыш, на танцульки приглашал в клуб... Откуда мне было знать, что у вас здесь потрясающая грязь? А то бы резиновые ботики прихватила. В этих моих лодочках сразу утонешь.

Она томно вздохнула.

— Пришлось отказать мальчику, а так вдруг захотелось покружиться с ним!

Дашура глянула на деда Федота, макавшего в чай хлебную корку. Тот поднял голову с вздыбленными сивыми космами, поморгал красными веками. В его грустных выцветших глазах теперь всегда стояли слезы.

— Санька, Аверьяна Синичкина сынок, — ни к кому не обращаясь, пояснил дед. Помявшись, прибавил: — Видел, как он ломался на углу... зряшный, пустой малый. Опять баклуши бьет: из рыбзавода прогнали. Нигде не держат брандахлыста!

Поводя острым, сухим плечом, Астра снова усмехнулась — теперь задорно, вызываяще:

— Что бы вы ни говорили, а у мальчишка броская... такая дикая красота. В Москву бы его, в наш кружок на выучку.

Поднося ко рту кружку с чаем, Федот хмыкнул. И недоверчиво протянул:

— Неужто в Москве-то-матушке... своих непутевых дурней мало?

Дашура слушала и не слушала бойкую болтовню заез-

жей москвички. Она смотрела в окно на бьющуюся под крутым урезом Волгу, вольно расхлестнувшуюся по всей многокилометровой низине левобережья. Казалось, раскованная весенним половодьем река стремилась как можно быстрее сбросить с себя тяжелый зимний панцирь: во всю ее неоглядную ширь сплошным потоком плыли и плыли льдины: и синевато-белые, радующие глаз своей неземной чистотой, и жухло-серые, с озерцами талой воды, и даже дегтярно-черные, точно побывавшие в аду.

Глядела Дашура в окно и вспоминала милое сердцу среднее Поволжье с лесистыми Жигулями, теплыми, небыстрыми речушками, вилявшими туда-сюда по лугам и долам, с березовыми колками, такими звонкими и гулкими на ветру. Неплохо жилось Дашуре сейчас и здесь, в низовье протянувшейся через всю Россию реки, но родные с детства места, видно, никогда, до гроба не забудешь!

Астра ткнула свой окурок в лужицу на чайном блюде, закинула ногу на ногу.

— Короче говоря, наивная моя Дашура, никчемная эта работенка вскоре мне надоела до темного ужаса. Спасибо девочкам из лаборатории. Они великодушно пригласили меня в свою веселую компанию. Собирались чуть ли не каждый вечер — то там, то тут... конечно не без мужского пола.

Девица поманила к себе Толика. Малец сидел на полу посередине комнаты и, тяжело сопя, раскладывал засаленные кубики.

— Толик, ты что же?.. Ведь я тебя зову! — сказала Астра. — Иди ко мне скорее, я тебя, бутузик, расцелую в аппетитную твою родинку!

— Не хочу с тобой целоваться, — буркнул Толик, продолжая передвигать с одного места на другое свои разноцветные кубики.

Гася в глазах улыбку, Дашура постучала по столешнице черенком ножа:

— Экий бесстыдник! Разве можно так разговаривать с тетей?

Толик сбычился, но промолчал. Грязным пальцем он поскреб, как бы намереваясь отколупнуть, родинку на упрямо вздернутом подбородке — эдакую коричневатую фасолинку. Почему-то все тетеньки любили целовать Толика, и непременно в подбородок. А мама, случалось, целуя Толькину родинку, вдруг делалась какой-то пугающе не-

понятной: она в одно и то же время и смеялась и плакала!

Думая о том, какие взрослые все же странные люди, Толик снова занялся своими кубиками.

Астра попросила Дашуру налить еще чашечку чаю. Покачивая ногой, она с прежней бесстыдной откровенностью продолжала изливать свою душу, не обращая никакого внимания на Федота:

— На одной такой интимной вечеринке я с ним и познакомилась. Знаменитый кинооператор, он с самим Чарли Чаплином на дружеской ноге. Да ты, Дашура, видела Максима Юлиановича: мужчина элегантный, солидный, хотя и... не молодой. Я ему с первого взгляда понравилась. Большой театр, рестораны, концертные залы. Даже в «Национале» много раз обедали и ужинали в обществе иностранцев. А какими подарками, знала б ты только, баловал меня Макс! Дорогие браслеты, кольца, французские духи!.. Все было! А тут весна в голову ударила... Пригласил он меня на съемки под Астрахань, ну и сорвалась я... Работу, дом, подруг — все оставила ради Максима Юлиановича!

Девушка резко встала и прошла по комнате.

— Разве я могла... откуда мне было знать, что этот плешистый старикашка окажется таким крупным мерзавцем? Обещал ведь жениться! «Вот, говорит, душка, разведусь со старой женой и пойдем под венец!» А сам завез сюда и... и бросил!

Астра прислонилась плечом к косяку двери, нервно покусывая накрашенные губы.

Неловкая тишина воцарилась в «гостиной». Даже самовар притих, как бы стыдясь чего-то. И тут вдруг заговорил дед Федот, о существовании которого, мнилось, все забыли. Отставив в сторону внушительных размеров кружку с отколотой по краю эмалью, Федот заговорил, заговорил вначале совсем невнятно и тягуче, будто бредил во сне:

— Припоминаю... Объявился в ту пору в нашей Осе-
тровке пришлый человек с многодетственным семейством. Голь перекатная, одним словом. Гуторил сам-то, с верховья, мол, откуда-то они... Да, того самое, не сильно на нужду-то свою печалился — увлекательной легкости имел характер. Как сейчас помню — Кирьяком прозывался. Ну, поклонился рыбакам, и взяли они его в свою артель. А жена и дочка старшая — этакая одна бессловесная стеснительность — на поденку определились. Осталь-

ная обжористая мелюзга во дворе копошилась, на огоро-
ды да бахчи набегу делала. Да-а...

Федот вздохнул — трудно, горько, склонив набок голо-
ву. Лицо его — серое, серое и омертвелое какое-то, ничего
не выражало, кроме усталости от слишком долгой, обре-
менительной жизни.

— А минул там год или чуть поболе, и Настасьюшка
эта — ну, Кирьяка старшая... ей в ту пору шестнадцать
подоспело, в самую что ни есть девичью пору вошла, —
собравшись с силами, снова заговорил дед, заметно ожив-
ляясь. — И все мужики и парни зариться стали на дочку
Кирьяка. Потому как такого чуда природы, право слово,
не случалось в здешних местах. Глянешь, бывало, на нее,
и словно бы душу у тебя из груди вынимают... того самое.
А про сердце и говорить не приходится! Забьется птицей,
и ты уж голову потерял. И помани тут тебя Настасьюшка,
и ты побежишь за ней хоть на край света, хоть в пекло
преисподнее... прости господи! В это самое время и по-
явился как-то в Осетровке астраханский купец. Такой тьмы
деньжищ ни у кого вплоть до Царицына не имелось, как
у Ярымова. Из крещеных татар был. Похвалялся все:
«С двумя гривнами, мол, в Астрахани я малайкой объ-
вился. А умная башка в миллиончики вынесла!» Ну, того
самое... скачет раз на тройке Ярымов по Осетровке, а на-
встречу Настасьюшка. Преметил купец девку и сразу ж
кучеру зыкнул: «Останови!» За пять десятков Ярымову
перевалило, а в силе и ловкости молодому не уступал. Трех
жен извел и в ту пору в холостяках ходил. Одним не вы-
шел — вид лица имел оттолкновенный. Дурнорожий из
дурнорожих! Увидела Настасьюшка Ярымова и коромысло
из рук выронила... покатались ведерки в разные сторо-
ны. А Ярымов вроде как не замечает, что страховитостью
своей перепугал человека. «Чьих родителей, спрашивает,
ты есть красавица?» Ответила Настасьюшка. Тогда Яры-
мов кулаком тык кучера в спину: «Гони в шинок. Опосля
к Кирьяку завернем».

Пожевав пересохшими губами, Федот потянулся за
кружкой, но она оказалась пустой.

— Давайте, я вам налью, Федот Анисимыч, — встрепе-
нулась тут задумчивая Дашура. Все это время она не-
отрывно смотрела в окно, изредка тихо улыбаясь каким-то
своим мыслям.

Жадно, большими глотками пил не остывший еще
чай Федот. А когда опорожнил половину кружки, отер

ладонью усы и бороду — тоже сивые, как и лохмы на крупной, нечесаной своей голове. Блаженно передохнул, прикрыв ненадолго лиловато-прозрачными веками глаза. И не спеша стал досказывать:

— Спойл хитрый татарин Кирьяка, Настасьюшкиного родителя, улестил его, турусы на колесах наобещал... того самое. Ну, и сдался мужик. Одна Настасьюшка упорствовала, не хотела на погибель свою под венец с Ярымовым идти. А тот осатанел совсем. Ужом вокруг нее извивается: «В бриллиантах-яхонтах, шелках-бархатах будешь павой у меня ходить! Все, что душе угодно — ни в чем отказа не потерпишь!» А та знай свое: «Нет и нет!» Мать, и та не устояла, тоже принялась дочь увещевать: «Поневолясь, не гневи бога. Пожалей семью: неужто век нам в нищете пропадать?» Настасьюшка знай свое: «Нет, и нет! Лучше, говорит, мне утопиться, чем с уродом старым маяться!»

— А я бы на месте этой дуры не растерялась! — сказала с веселой бесшабашностью Астра, перебивая деда.

Медленно, с трудом будто, поднял Федот на девицу свои линялые глаза. Он не сразу нашелся что и ответить.

— Того самое... напутлял я вам всякое... что к чему — не сразу и разберешь, — забормотал он виновато. — Домой пора... того самое. Благодарствую за хлеб-соль...

— Нет уж, Анисимыч, так не годится. До конца досказывайте, — как-то поспешно попросила Дашура деда. И слегка поежилась, словно в спину дунуло холодом.

Старик покачал головой.

— Не ладный конец-то больно... лучше бы я вам и не сказывал ничего. Супротив воли Настасьюшку под венец повели. В эту нашу церковь... теперешнюю керосиновую лавку. А до того невесту под замком, как преступницу, держали... того самое. Когда батюшка вознес крест, чтобы осенить жениха и невесту, Настасьюшка возьми да и... взвидеть никто не успел, как она бросилась вон из церкви. Подлетела, как на воздушных, к обрыву — в самый раз насупротив вот этих ветел — и вниз головой в омут... того самое.

Скрестив на груди руки, Астра подошла к столу.

— Уж не хочешь ли ты, слюнявый скелет, чтобы и я... в омут головой кинулась? А? — зловеще спросила она Федота.

— Зачем же вы так? — ахнула Дашура, вся заливаясь стыдливым румянцем.

— А чего он побасенками разными мне душу выматы-

вает? Провалиться бы ему пропадом вместе со своей непорочной Настасьей! — девица закрыла руками лицо, но не заплакала.

Заревел неожиданно Толик.

— Господи, а ты-то с чего, назола? — Дашура склонилась над сыном.

— Разве не видишь: она... она... она кубик мой раздавила!

— Эко мне... такой большой мужик, а ревет белугой! — пристыдил Толика Федот, вставая. — Ежели хочешь, я тебе не один, а целый десяток этих кубиков напилю.

Отрывая от Дашуриной груди мокрое лицо, Толик покосился на деда:

— Правда, сделаешь?

— Истинный бог, не вру. Вот пойдем сейчас... и кубики получишь.

— Пусти меня, мам.

Когда Дашура одевала сына, Федот от двери сказал:

— Не сумлевайся... Я сам его приведу, кочетка твоего.

Выпроводив Федота и Толика, Дашура остановилась у окна. Она смотрела на сына и деда, шагавших вразвалку по вымощенной щебенкой дорожке до тех пор, пока они не скрылись за калиткой. И лишь потом сказала Астре, не поворачивая головы:

— Напрасно вы на старика... Разве он тут при чем? Да и рано убиваться: обождите еще день-другой... авось и вернется этот ваш...

Дашура оглянулась. В «гостиной» она была одна. А из соседней комнаты доносилось негромкое пение.

Дашура долго еще стояла у окна и, теребя оборку на платье, мысленно унеслась в прошлое, вспоминая шаг за шагом свою любовь к Егору, такому неверному, но и такому дорогому, до сих пор самому дорогому ее сердцу человеку, единственному во всей вселенной!

Глава третья

До десяти лет росла Дашура вольной непуганой птахой. Когда же в одночасье умерла мать, в затерявшийся в беспредельных Оренбургских ковыльных степях совхозик приехал за племянницей дядя. Дядя жил где-то на Волге под Жигулями в неприметном городишке с ласковым прозванием — Тепленькое. Мать не раз собиралась

свозить Дашуру на свою и ее родину в гости к дяде. Но поездка эта так и не состоялась.

Прижимая к себе босоногую племянницу, на диво светленькую, ясноглазую (это на необузданно диком-то степном солнце!), слабогрудый, стеснительный дядя с глинисто-желтым лицом хронического малярика удивленно воскликнул:

— Ба-а! И в кого ты у нас такая уродилась... беляночка?

Больше Дашура никогда не слышала от дяди ни ласкового ни худого слова.

Наутро, связав скудные пожитки матери, совхозной поварихи, дядя повез Дашуру в далекий волжский городок, грезившийся ей в тревожных дорожных снах то хрустальным сказочным замком, то почерневшим от лихоейства теремом бабы-яги.

Город вольготно раскинулся по берегу небыстрой и мелководной в осеннюю пору Телячьей воложки, с трех же других сторон его заботливо окружал первобытно-могучий бор — такая редкость в наше время, вплотную подступавший к огородам и садам.

Приземисто-шатровый пятистенник дяди стоял на высоком берегу воложки, окнами на речку. В эти сумрачные оголенные окна — без занавесок и горшков с цветами — засматривалась синь-голубая гладь смиренной воложки, нежившейся под майским добродушным солнцем.

«Ну-ну, и домище!» — ахнула про себя Дашура, поживаясь от пробежавшего по спине знобящего холодка, пока неразговорчивый дядя что-то уж слишком нерешительно отворял щелявую, перекосившуюся калитку.

А через минуту-другую Дашура сызнова потерянно ахнула про себя, когда очутилась лицом к лицу с многочисленными домочадцами неприветливого пятистенка. Семейка-то у дяди и без нее была веселенькая — одних голопятых ребятишек семеро, а к ним в придачу еще две бабки!

Заискивающе глядя на жену — сухопарую, длиннорукую особу с непомерно большим животом, дядя скорбно вздохнул, покачивая облысевшей головой:

— Вот она, Агаша, Нюсина пигалица... а ваша, огольцы, сестричка Дашурка.

Тетка Агаша не проронила ни слова, ни полслова, поджав свои тонкие, будто выпачканные сметаной губы.

Она сразу невзлюбила племянницу. И наутро, лишь стояло молчаливо-тихому дяде уйти на работу в какую-то там контору, как тетка дала волю своему вздорному, сварливому характеру.

От нее, тетки Агаши, Дашура и узнала в то несолнечное, призадумавшееся утро, что сама она «крапивница», а покойная мать ее была ветреной потаскушкой.

Одна из старух, бабка Тоня, доводившаяся теткой робевшему перед женой дяде, попыталась было усовестить разошедшуюся ни с того, ни с сего невестку, в гневе начавшую зловеще косить, но та рассвирепела пуще прежнего.

Дашура поняла: кончилась ее степная, раздольная жизнь, кончилось своевольное, беззаботное детство, все безвозвратно кануло в прошлое.

Раз как-то под осень после очередной порки (тетка Агаша отхлестала Дашуру тяжелой, прямо-таки свинцовой, своей ручищей) девчурка убежала на огород, к банешке, где она вместе с бабками и жила все лето.

Схоронившись под кустом одичалой смородины у дощатого продымленного предбанника, Дашура дала волю горячим сиротским слезам. Она так безутешно рыдала, спрятав лицо в острые, в цыпках, колени, что даже не слышала, когда чернявый соседский Егорка перемахнул через плетень, когда пролез к ней в одурманивающе душные заросли смородины.

Очнулась Дашура лишь в тот миг, когда настырный Егорка, взяв ее сзади за плечо, горячо и решительно шепнул в самое ухо:

— Хочешь, я убью ее?

Дернувшись в страхе Дашура, намереваясь куда-нибудь сбежать, да тот держал крепко, не вырвалась.

— Лопни мои глаза, не брешу! — хорохорился Егорка с прежней необузданной настойчивостью. — Только слово скажи — и каюк придет раскосой ведьме!

— Пусти, — попросила Дашура, переставая всхлипывать. Чуть отодвинувшись от сопевшего сердито Егорки, с опаской глянула в его отчаянно-жаркие монгольские глаза. — Не моги об этом и думать, — рассудительно прибавила она, кулаком вытирая слезы. — Я от аспидки тетки давно бы удрала за синь-море, да дядечку жалко. Ему, сердечному, думаешь, слаще приходится, чем мне?

Егорка понимающе кивнул стриженной лобастой головой. Послюнявив поцарапанный до крови подбородок —

упрямо вздернутый, с коричневатой родинкой-фасолиной в ямочке под нижней губой, он беспечно предложил:

— Мотанем на ту сторону за ежевикой?

— А на чем?

— На лодке, на чем же еще!

У Дашуры перехватило дыхание. Четвертый месяц жила она на Волге, а на лодке еще ни разочку не ката-лась.

— Крадись за мной,— приказал Егорка и первым по-лез на четвереньках из смородиновых зарослей, виляя худым задом.

Дашура вздохнула и покорно последовала за ним.

Вот с этого дня все и началось. Да, именно с этого. Все чаще и чаще встречалась украдкой Дашура с проказ-ливым Егоркой, не по летам рослым и сильным, верхо-водившим мальчишками Старого посада — приречного курмыша в тихом городишке.

Поводя пальцем по переплету рамы, Дашура на ка-кое-то мимолетное время очнулась от воспоминаний детства, точно от дивного сна, никогда несбыточного на-яву, снова прислушалась к доносившемуся из комнаты пению. И, снова покачивая головой, она подумала, сразу как-то забывая о взбалмошной москвичке: «А потом мы тонули. Только в то лето или в другое?.. Кажись, на дру-гой год мы пускали пузыри. Нас тогда на остров гаври-ков десять отправилось».

Но прежде чем память воскресила в сознании Дашуры картину поездки на утлой дырявой лодчонке в полую воду на остров, когда они, огольцы, чуть все не утонули, перед ее взором промелькнуло еще одно росное, тумани-сто-глухое сентябрьское утро.

Накануне не пришла со стадом из лугов корова Вечер-ка. Это незначительное для других событие вызвало па-нический переполох в неуютном шатровом пятистеннике в Старом посаде. Кроткая Вечерка была кормилицей крикливой прожорливой ребячьей оравы. Ночные поиски коровы ни к чему не привели. И едва возшло солнце, как тетка Агаша, только что оправившая после мучительных и неблагополучных родов, подняла на ноги Дашуру и обеих бабок.

Телячью воложку переходили вброд — под осень речка местами чуть ли не совсем пересыхала. Впереди всех шла грозно насупленная тетка Агаша, высоко за-

голив белые ноги в сине-лиловых выпуклых венах. За теткой Агашей ковыляла, опираясь на сковородник, подслеповатая бабка Тоня, распустив на молочно-теплой, стоячей воде подол линялой черной юбки (другая старуха, теткина мать, осталась караулить дом: дядя, как на грех, в это время был в командировке в области). Заспанная Дашура плелась последней.

«Лизочку, свою любимицу, даром что эта дылда старше меня, не подняла! — сердито думала Дашура. — «Пусть Лизочка понежится, у нее слабое здоровье», — передразнивая тетку Агашу, Дашура показала ей в спину язык.

По тихому мелководью она брела осторожно, боясь ухнуться в невидимые ямы, подстерегавшие на каждом шагу.

На той стороне острова Дашуру ждало новое огорчение. Тетка Агаша, надеялась она, позволит ей пойти вместе с бабушкой Тоней, безобидной и жалостливой старухой, но та решила по-своему.

— Ты — да смотри у меня в оба! — отправляйся на Карасево озеро, — сказала тетка, никак не называя Дашуру. — И не криви губы... черти тебя там не слопают! А мы с тетей Тоней пойдем к Плешивой прорве... Ну, поторапливайся! Кому я сказала?

Глотая слезы и замирая от страха, Дашура свернула с торной песчаной дороги на еле приметную тропку, прятавшуюся в перестоявшейся осоке — сизой от крупной обжигающей росы. Гиблая эта тропка — Дашура уж точно знала! — тянулась, петляя по лугам, к страшному Карасеву озеру, из которого глухими ночами высывают рогатые головы пучеглазые водяные быки и трубят, трубят на всю округу — жутко и призывно.

«Что ж тут поделаешь — погибать так погибать, видно, на роду у меня написано, — уже отрешенно думала Дашура, не замечая слез, еще обильнее покотившихся по щекам. — Жалко мне одного дядечку... не простилась с ним».

И тут вдруг произошло чудо: из-за комля-спрута, оставшегося от старой осины, когда-то с корнем вывернутой ураганом, вынырнул, будто из-под земли, лыбящийся Егорка.

От радостной нечаянности Дашура даже не вскрикнула. В эту минуту забыв и вредную, косящую во гневе, тетку Агашу в придачу с ее любимицей Лизкой — ябед-

ницей и недотрогой, а также и страшное Карасево озеро, и пестробокую Вечерку, она восторженно смотрела, все еще не веря в чудо, на летевшего к ней на всех парусах Егорку. К концу лета мальчишка чуть ли не совсем обуглился под неумеренно щедрым волжским солнцем.

— Держи, на,— с солидной деловитостью обронил Егорка, доставая из-за пазухи пышку-сдобнушку, теплую, словно бы сейчас из печки.

— А тебе есть? — шепотом спросила Дашура, опускающая просиявшие лучисто глаза.

— А как же! — Егорка достал и себе пышку.

— Счастливый ты! — вздохнула Дашура.— Я отродясь таких сдобнушек не ела.

— У тебя губа не дура! — беззаботно потряхнув головой, Егорка добавил:— Ты куда? На Карасево? Ну, и давай махнем напрямки. Так скорее доберемся.

— А... а водяные быки? Они нас не сожрут?

Прыснул в кулак Егорка.

— И не лень тебе слушать бабкины сказки? Они не такое еще сбредут!

Взявшись за руки, они бежали и бежали с бугра на бугор, из лощины в лощину, то окунаясь в погребную, отволглую сырость буреломных оврагов, заросших студенисто-скользкими грибами-поганками, то возносясь на согретые солнцем вершины холмов, дышащие в лицо живительным теплом и томным дыханием поздних луговых цветов.

Кое-где в низинах еще стелился тяжелый туман, но бесстрашный Егорка первым нырял в него головой.

— Ой, Егор... где ты? — встревоженно спрашивала Дашура, не сразу решаясь шагнуть в матово-пепельную, обволакивающую сырость, жуткую пелену.

Изредка Дашура нараспев кричала, приставив ко рту сложенные руки:

— Ве-эчерка-а! Ве-э-эчео-орка-а!

Потом чутко прислушивалась. Но корова не подавала ответного голоса.

Пышки-сдобнушки давно съедены, и уж снова хочется есть. Находчивый Егорка, колупнув раз-другой родинку-фасолину на подбородке, заявил отважно:

— А давай, знаешь, чего... листья жевать.

И сорвал с орешника зеленую ветку.

— Листья? — ахнула Дашура.

— Они знаешь какие? У всех разный вкус... Вот попробуй.

Глядя на Егорку, усердно запихивающего в рот шероховатые, чуть ли не с ладонь, сочные листья, Дашура тоже потянулась к ветке.

Они перепробовали и жесткие, будто вырезанные из жести, листья дуба, горькие и вяжущие во рту, и березовые — лакированные кругляши, слатимые, чуть-чуть пахнущие баней. Не прошли мимо встретившихся на пути худенькой сиротливой осинки и престарелого, вымахавшего до неба осокоря, притерпевшегося ко всяким невзгодам за свою непостижимо долгую жизнь. А когда набрали на рябину, поели, морщась до слез, ее неспелые еще, но такие соблазнительно огнистые крупные ягоды...

— Боже мой,— вдруг прошептала, на какой-то миг закрывая глаза, Дашура.— К чему... правда, к чему, глупая, берегу себе душу? Как бы забыть навсегда прожитое течение жизни, забыть до глухой гробовой доски?

У нее устали ноги, и надо бы давно сесть, но она как-то не догадывалась этого сделать, а все стояла у окна.

Самовар, попищав по-комариному, совсем заглох. Смолкла и Астри в соседней комнате, видимо, ей тоже надоело тянуть неприятным пискливым своим голоском тоскливые песни про дожди, измены и разлуки.

«А денька, должно быть, через три после поисков Вечерки... нашлась ведь, блудная! У Карасева озера сочной травкой лакомилась! А вскоре после этого случая он, Егорушка-то бедовый, тумачков мне надавал за милую душу.— Дашура вздохнула с тихой грустью, опять безвольно окунаясь с головой в воспоминания детства, но все еще никак не набредавая на тот, как ей представлялось, самый волнующий эпизод тех дальних лет — «кругосветное плавание» на Телячий остров ребячьей ватаги под предводительством Егорки.— Припоминаю: пожаловалась я ему — нас с бабками мыши в банешке одолели... скребутся и скребутся, вредные надоедники. Егорка сразу встрепенулся: «А я мигом сейчас мышеловку принесу. И всех ваших хвостатиков переловлю». Я и сказать ничего не успела, как он маханул через плетень. Заявился чуть погодя с мышеловкой и блесточкой колбаски. «Где, спрашивает, они у вас водятся?» — «А везде, отвечаю. Ставь вот хоть на завалинку. Они в щели и оттуда выныривают». Засопел Егорка, настроил свою мышеловку,

поставил на покосившуюся завалинку. «А теперь, говорит, давай спрячемся. И сама увидишь, как попадется мышка». Присели мы за помидорные кусты — в то лето на помидоры страсть какой урожай был, тесно так прижались друг к другу, замерли. А через какую-то там минуту... и взвидеть не успели, как откуда ни возмись, синица на завалинку опустилась. Не осторожные они, бедовые головушки, не бережкие. Закричать я не успела, чтоб отпугнуть синицу, а она уж к мышеловке скок, скок... и попалась. Носик прищемила мышеловка синичке. Лежит, сердечная не шелохнется. А рядом капелька алая, будто бусина драгоценная, горит. «Скорей, Егорка, кричу, скорей освободи синицу!» Положил Егорка синицу на ладонь, а она уж бездыханная. Никогда я ни раньше, ни позже не видела таких красавиц: шубка пышная, щеголеватая, словно бы новая. Каждое перышко, каждую пушинку можно пересчитать. Глотаю слезы, еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, а у Егорки они — слезы-то, что твои крупные горошины — одна за другой катятся по щекам. «Егорушка, шепчу, ну, разве кто знал»... А он как зашипит: «Ты, ты во всем виноватая! Из-за тебя погибла синица!» И на меня с кулаками... Стою, не обороняюсь, пикнуть даже боюсь. Надавал Егорка мне тумачков и сбежал. Мне даже не больно было. Не до того мне было. Плакала я, когда синицу бедную хоронила. Тут уж дала волю слезам: и мамаку свою несчастную вспомнила, и свою степную неподневольную жизнь. С неделю дулся на меня Егорка, да я и сама старалась не попадаться ему на глаза. А потом помирились. Только... только терзаюсь теперь порой... может, и смешно, и глупо это... да кто знает? После печального происшествия с синицей вроде бы трещинка малюсенькая образовалась в нашей с Егоркой дружбе. И годами она все ширилась, и ширилась — эта трещина. Вот я и терзаюсь порой: не душа ли синичкина, невинно загубленная, наказала меня на всю жизнь?»

Дашура кулаком смахнула с ресниц слезы. И тотчас по ее худому, открытому лицу с такими добрыми ямочками на щеках, еще по-девичьи свежим, не тронутым паутиной морщин, пробежала улыбка — светлая, точно солнечный зайчик.

И уж перед глазами сызнова встал, как живой, Егорка. Это было, кажется, на другой год, в один из дней капризного апреля, когда на дню что ни час, то перемена в погоде, вот знойно, прямо по-летнему, печет солнце, и

на лужу бездонной светлости нестерпимо смотреть — того и гляди ослепнешь, а вот уж из чернильно-продымленной тучки, невесть когда появившейся на празднично свёжем, чистом небе, вдруг ударит косой холодный дождь, от которого, если не спрячешься, непременно наживешь малярию. А немного погода снова наступает блаженная тишина, снова на небесной сини ни пятнышка, будто перед тобой Атлантический океан на школьной карте, и все вокруг — и крыши домов, и сквозная чернота деревьев, и бурая песчаная дорога — сочно и весело блестит и курится еле приметным парком, по-весеннему ядрено духовитым.

В такой-то вот денек Дашуру, только что вернувшуюся из школы, тетка Агаша и послала к соседям занять чеплашку соли.

Во двор к Томилиным она вошла мелкими шажками, застегнув на все пуговицы надоевшую за зиму куцую шубейку.

Где-то в глубине души — Дашура пыталась даже от себя это скрыть — таилась робкая надежда: а вдруг мне посчастливится увидеть Егорку? Он нынче не был в школе, и Дашуре весь день чего-то не хватало, хотя и в школе она видела его обычно изредка на переменах.

Прежде чем подняться на невысокое крылечко, Дашура, привстав на цыпочки, заглянула в кухонное оконце, мимо которого ей надо было пройти.

Егорка сидел у края стола, боком к Дашуре, и как-то нехотя, через силу, хлебал из тарелки суп.

Томилины жили безбедно: глава семьи работал мастером в автобазе, Валентина Даниловна — птичницей в совхозе, детей же у них было всего-навсего двое: Егорка и Нюся, студентка педагогического техникума.

Притаившись у наличника, Дашура еще раз с опаской глянула в окошко. Курчавый, залохматившийся за зиму Егорка, выловив из тарелки куриную голову, повертел ее в руках, оглядывая со всех сторон. Потом пальцем оттянул книзу восковой желтизны клюв, разглядывая тонкий, клинышком, розоватый язычок.

«Дурак, а ты ешь знай, она, куриная-то голова, слаще сахара!» — вздохнула, глотая вязкую слюну, Дашура.

И тут — совсем неожиданно для себя — она увидела у Егорки над верхней его губой, лоснящейся от жира, темный, только-только начавший пробиваться пушок.

«Мне в ту весну минуло одиннадцать, а ему, Егорке,

четырнадцать, — сказала про себя Дашура. — Помню... как сейчас помню... я тогда от стыда чуть сквозь землю не провалилась. Загляделась на Егорку и не слышала, как Валентина Даниловна в калитку вкатилась... она такая кругленькая была, как наливное яблоко. «Дашурка, говорит, ты чего тут стоишь, в дом не заходишь?»

...Внезапно Дашура вздрогнула и, очнувшись от воспоминаний, дико так оглянулась на входную дверь, точно ее поймали на месте злодейского преступления. В прихожей никого не было.

«А мне почудилось, словно бы дверь скрипнула, — с обмиранием сердца подумала Дашура, зябко поводя занемевшими плечами. — Мне даже... голос даже померещился... его, Егора, голос».

Она не помнила, как обессиленно опустилась на табурет, как закрыла ладонями лицо... Не сразу пришла в себя Дашура, а чуть опаматовавшись, ахнула, обводя взглядом не убранный еще стол: «Посуда-то у меня немытая стоит! Срамота, да и только!» И подобно утопающему, с бессмысленной настойчивостью хватаящемуся за соломинку, она вскочила легко и чуть ли не бегом помчалась на кухню за полотенцем и миской.

А пока Дашура — уже степенно — мыла в горячей воде чашки и блюдца, жестокая, ничего не забывающая память наконец-то и подсунула ей ту самую страницу, давно желаемую, милую сердцу страницу все из той же книги детства.

«Ох, и страху же мы тогда натерпелись! — подумала Дашура. — Если б не находчивый и расторопный Егорка, мы непременно бы все тогда потопли, как слепые кутята. Это он, Егор, майками, носками и косынками разными — что попало под руку — позатыкал в ничейной, бросовой лодке самые большие дыры, а меня и Саньку Пяткова заставил пригоршнями воду отчерпывать. Сам же изо всех сил веслил, наперерез течению, чтоб поскорее к берегу прибиться, пока нас в коренную Волгу не снесло. Сопливые же саранчата — разные там шестилетки и семилетки — на носу сгрудились, истошно голося. — Она возбужденно вздохнула, беря из миски с водой очередную ополоснутую чашку. — А попали на берег, обсохли, отогрелись на майском солнышке и про все страхи свои забыли. Это тогда ж — эх, и невезучий выдался денек! — на спор с Пятковым Санюлей горячий Егорка бросился с вершины осокоря вниз головой в омут и ногу себе на

всю жизнь о корягу повредил... на всю жизнь хромым остался».

Дашура поймала себя на мысли: когда она увидела непривычно бледного, осунувшегося после больницы Егорку, слегка загребавшего правой ногой землю, у нее что-то перевернулось в сердце. С того самого дня Егор и стал для нее, неразумной, угловатой девчонки, еще ближе, еще роднее.

В этот момент — такой неподходящий для гостей — и на самом деле скрипнула и распахнулась входная дверь. И в прихожую заезжего дома с мешковатой неторопливостью вошел крупный мужчина в блестящей куртке на «молнии», держа в левой руке небольшой, тоже поблескивающий, чемодан.

Глава четвертая

Дашура не заметила промелькнувшего мимо окна мужчину в черной негнущейся куртке. Но минутой-другой позже ей вдруг показалось, что она слышит, как кто-то плещется у крыльца в корыте с водой.

«Выйду сейчас в сени и нашлапаю неслуха, — подумала Дашура, уверенная, что это балуется вернувшийся от деда Федота Толик. — Уж я его нашлапаю! Будет знать, как в другой раз плескаться... вода-то в эту пору самая простудная».

Но она не успела привести в исполнение свое намерение: дверь тоненько и жалобно скрипнула. Точно кошка мяукнула. Все еще думая, что возвращается мокрущий по уши сын, Дашура, не поворачивая головы, многообещающе протянула:

— И отдеру же я тебя сию минуту за уши!

— Ай-яй, ну и Дашура! — весело, рокочуще бая, сказал дюжий, упитанный мужчина, притворяя за собой дверь и ставя на пол чемодан. — За какие такие грехи ты за уши собираешься меня отодрать?

Оглянувшись Дашура и, всплеснув руками, схватилась за вспыхнувшие знойно щеки.

— Бронислав Вадимыч, а я... я подумала: сынарь мой шастает, — сказала немного погодя Дашура. — С приездом вас! Нынче у нас свободно — во всем доме один человек! Проходите!

— Э, постой, негоже в сапогах. Мыл их в корыте, а

все равно... Ну, и грязища в Осетровке! Такой вроде раньше не было?

— Ну, что вы — всегда по весне и осени одно и то же! — усмехнулась Дашура. — Это вы в Астрахани теперь отвыкать от нее стали. Помолчав, спросила: — Как они у вас там проживают — Сашенька и Машенька?

— И не спрашивайте: худо им без мамки. Тетка моя присматривает, да чего с нее спросишь? Бесполезный человек — ей самой до себя.

Дашура из приличия вздохнула.

— К нам-то что — в командировку?

— Дело тут одно... личного свойства, — уклончиво ответил Бронислав Вадимыч. И, крикнув, грузно опустился на корточки перед чемоданом. Щелкнул сухо замок, крышка пружинисто откинулась назад. Мясистые короткопалые руки, проворные и ловкие, распаковали газетный сверток и бросили на пол старенькие домашние туфли.

Дашура подумала: «Ой, ёй! Эти развалюхи года три назад тут еще, в Осетровке, на нем видела».

Тем временем Бронислав Вадимыч переобулся, повесил на гвоздик у входа шуршащую куртку и суконную кепку.

— Чаю хотите? — спросила Дашура, подхватывая со стола самовар. — Мне недолго подогреть, не стесняйтесь.

Пропуская мимо себя Дашуру, Бронислав Вадимыч оглядел ее с головы до ног.

— А ты, Дашура... как бы точнее высказаться... еще располагательнее стала!

— И вам не совестно? — Дашура прибавила шаг. — Слышать не могу, когда говорят... разные глупости.

— А я от души! — Бронислав Вадимыч скользнул воровато взглядом по ее оголенным до локтей рукам, необыкновенной белизны рукам, плотно обтянутой тонким ситчиком спине, девичьей талии, бедрам. — Промежду прочим, от горячего чайку не откажусь.

И он прошел к столу, поглаживая ладонью розовую — во всю голову — лысину.

«Считала — никогда и носа теперь сюда не покажет, а он — нате вам — появился груздем! — думала Дашура, отчаянно тыпая тупым тяжелым косарем по сухому сосновому полешку. — В Осетровке и по сей час страха того не забыли... Всей той жуткой истории, которая осенью в саду у Киршиных произошла».

В самоварной трубе уже гудело азартно пламя, а Да-

шура все еще сидела на корточках перед печью и щепала, щепала лучину — звонкую, смолкую.

«Неужель опять будет свататься? — спрашивала она себя. — Я же зимой ему отрубила: нет, нет и нет! За детишками поухаживала, когда беда стряслась, целных два месяца нянчилась с несмышлеными, а в жены... в жены пусть поищет себе другую».

На душе было смутно. От мучительной тоски и безысходной тревоги на глаза то и дело навертывались слезы.

Возвращение счастливого Толика с оттопыренными карманами пиджака, из которых выглядывали новые, слепящей желтизны, кубики, обрадовало Дашуру.

Огромные глаза мальчика от возбуждения округлились, а чернота их стала как бы ярче и гуще.

— Мам! — еще от порога закричал он, зацыхавшийся, разгоряченный, со съехавшей на правое ухо шапкой. — Глянь-ка скорей, какие дед кубари мне наделал!

— Ну, покажи, покажи, сверчок мой запечный, — с преувеличенным интересом громко сказала Дашура, и лицо ее, только что сосредоточенно замкнутое, с насупленными бровями, смешно так насупленными, внезапно все распустилось в улыбке.

Пыхтя и тужась, Толик долго вытаскивал из карманов свои кубики... Дашура сняла с него шапку, размотала с шеи слипшийся шарф. И опять залюбовалась сыном, глядя на его отрочески чистый большой лоб с россыпью прозрачного бисера и дыбившийся на макушке вихор.

Пока Дашура, похваливая дедовы кубики, раздевала, умывала и причесывала сына, поспел и самовар.

— Уж извините, долго что-то он у меня кумекал, — с веселой непринужденностью сказала Дашура, внося в «гостиную» тяжелый самовар. Казалось, она не шла по окрашенным — поразительной ширины — половицам, а легко, едва касаясь их, скользила.

Бронислав Вадимыч, уже развернувший на столе помятый лист плотной серой бумаги с тонко нарезанными кругляшами розовато-синей докторской колбасы и такими же просвечивающимися ломтиками свиного сала, осуждающе проговорил:

— И как тебе не совестно, Дашура? Ну, позвала бы: женское ли дело — ведерные самовары таскать?

— Ну, еще... я привычная! — Дашура поставила на конфорку чайник с заваркой и, больше для порядка, провела по чистому столу мягкой белой утиркой. — Кушайте

на здоровье. Вот и чашка, вот и солька... а хлеб у вас есть?

— Есть, есть, не беспокойся. Я булок свежих прихватил.— Бронислав Вадимыч вскинул на Дашуру глаза.— Присаживайся за компанию.

На шаг отступя от стола, Дашура слегка поклонилась.

— Спасибо. Мы совсем в недавнем времени чаевничали.

Из-за косяка двери в «гостиную» заглянул любопытный Толик.

— А-а, Анатолий свет Батькович! — с радостным облегчением воскликнул Бронислав Вадимыч и приподнял крышку лежавшего у него на коленях чемодана.— Купил, понимаешь ли, тебе гостинец в Астрахани, да вот беда — забыл дома. Память! Пошаливать она у меня чтой-то стала. Ну, да подходи... подходи! Колбаской угощу. Хочешь колбаски?

Не трогаясь с места, Толик помотал из стороны в сторону смоляной головой.

— Ты что... не узнаешь меня? — удивился гость.

— Уж-на-аю,— пропел хрипловато Толик, все так же крепко держась за косяк двери.

Подняв высоко ломтик колбасы, Бронислав Вадимыч совсем уже торжественно объявил:

— Получай!

Толик снова помотал головой.

— Мне мама не велела брать.

— Сынарь, ну что ты плетешь? — прикрикнула, смущаясь, Дашура.— Я тебе о чем говорила? Чтобы ты не надоедал гостям, а ты?

— Да-а, ты чичас...

— Возьми гостинец и поблагодари дядю. И беги к себе в комнатку. Ты у меня мальчик большой, стыдно такому быть наяном.

Зажав в кулаке гибкий, как резина, ломтик колбасы, Толик со всех ног бросился вон из «гостиной» боясь, как бы мать не дернула его за вихор. Вслед за сыном собралась уходить и Дашура.

— Пойду постель вам застилать... день-то к вечеру покатился.

Она посмотрела в окно.

— А вон еще постоялец на самовар поспешает. Не скучно вам будет.

Вытягивая шею, Бронислав Вадимыч тоже потарачился на окно. По жесткой мощеной дорожке уныло брел

немолодой, сутулящийся под бременем лет мужчина в солдатском пиджаке с побелевшими плечами и пропыленным вещевым мешком на загорбке. Он опирался на крепкую шишковатую палку — с такими надежными, до блеска натертыми посохами в давнюю пору на Руси ходили странники.

— Из Москвы, болезный, вертается, — заметила горестно Дашура, комкая в руках утирку. — Живого места на самом нет, а он еще о других печется. С ихней учительницей... недалгие они — из Песчаного, беда стряслась. По молодости лет и горячности правдивой отмочалила она на колхозном собрании председателя Совета... а правда-то глаза колет! Ну, и ее, учительницу, местные дуrolомы в два счета с работы сняли. А женщина она безмужняя, на руках дочка калека безногая... куда ей деваться? Михаил Капитоныч... этот вот самый, и взялся хлопотать. Бился, бился, а потом взял да и в Москву.

Положив на тарелку пару бутербродов с колбасой и пару с салом, Бронислав Вадимыч убрал в чемодан оставшиеся продукты. Лишь после этого спросил:

— Она ему родней доводится?

— Кто? Учительница? Такая же родня, как и мы с вами.

— Кто же задарма будет стараться? Наверно, какой-нибудь свой интерес имеет.

Направляясь к выходу, Дашура через плечо холодно обронила:

— Это уж кто как... иной бескорыстно сложит голову за незнакомого человека, а другой...

Она распахнула дверь и вышла в сени.

Глава пятая

После пятой кружки горячего чаю Михаил Капитоныч заметно прибодрился. Остроносое сухое лицо его — морщина на морщине, замаслившись потом, будто даже чуть помолодело.

— Полторы недели, Дарья Андревна, торкался в разные двери. Все правду искал, — заговорил новый постоялец, почему-то обращаясь лишь к Дашуре, крайне смущая ее особой, подчеркнутой вежливостью, и совсем не замечая Бронислава Вадимыча, медленно, со вкусом жуящего свои бутерброды. — В одно место заявлюсь — посылают в

другое...— Он намотал на палец буроватый хохолок, все еще задиристо, по-мальчишески топорщившийся над яйцевидной, бубликом остриженной головой.— А вернулся, как и уезжал, с пустыми руками. «Возвращайтесь, гражданин, на свое местожительство. Мы расследуем историю увольнения учительницы Ульяновой и результаты сообщим»... Всю дорогу от Москвы до Астрахани маковой росины во рту не было.

— В честь чего же ты постился, голова? — с притворным сочувствием спросил Бронислав Вадимыч, собирая с тарелки хлебные крошки.

Все так же не глядя на восседавшего напротив него по другую сторону стола упитанного детину, Михаил Капитоныч усмехнулся добродушно запекшимися губами:

— Сотенный билет не хотелось менять!

Левое, чуть приподнятое плечо его дернулось и поползло к уху.

— А дорога — сущая маета, Дарья Андревна. Негде на ночь — в буквальном смысле слова — голову преклонить,— продолжал Михаил Капитоныч.— В первый вечер — по неопытности провинциальной — в центральные гостиницы устремил я стопы свои. В «Минске» мне на дверь показали, в «Москву» тоже не пустили. Стою на проспекте Маркса и думаю: «Куда теперь деваться?» Скоро ночь, чуть ли не на каждом шагу фонари уж засветились, люди беззаботно снуют туда-сюда, и ни одного-то знакомого в большом этом городе! Попытал счастья еще в одной гостинице, в третьей... Тоже от ворот поворот: «Нет мест!» И точка без запятой. Немцев там, англичан и прочих иностранцев с улыбочками и поклонами принимают, а я, который до Берлина пешком дотопал со своими молодцами.. раза три чуть богу душу не отдал... а на меня, обратно же, и смотреть не хотят! Эту первую свою ночь на Казанском вокзале на полу промаялся. Потому как и вокзал был битком набит разным приезжим людом.

Вдруг Михаил Капитоныч хлопнул ладонью себя по щеке и со словами: «Не младший ты лейтенант, ядрена мать, а мокрая курица!», торопливо нагнулся, подхватил с полу свой ветхий заплечный мешок.

— Покличьте-ка, Андревна, своего шуренка, я ему что-то тут из Москвы привез,— говорил он, распутывая узловатые бечевки на тощем мешке.— Это я в начале своей шикарной столичной жизни... когда еще серебро в кармане бречало,

— И не думайте! — запротестовала Дашура, сидевшая все это время у самой двери на кончике табурета. — С вашими-то недостатками!

— Отставить! — шутливо приказным тоном прикрикнул на Дашуру Михаил Капитоныч. И выхватил из мешка и поставил на стол смешную-пресмешную обезьянку-модницу с зеркальцем в одной лапе и расческой в другой. — Зовите, зовите сынаря.

Дашура не успела и рта открыть, как из-за ее спины Толик плаксиво пропищал:

— Ма-ам, можно?

Она лишь рукой отмахнулась:

— Раз дядя приглашает... чего уж там, заходи.

И Толик, вдруг оробев, несмело и нерешительно переступил порог «гостиной». А увидев на столе мартышку — в одно и то же время — старательно причесывающую курлатую свою голову и отплясывавшую не то камаринского, не то барыню, с восторженным ревом кинулся к Михаилу Капитонычу.

— Ну, что скажешь? — спросил Михаил Капитоныч мальчика, когда обезьяна остановилась на краю стола. — Нравится Мартын Мартыныч?

Толик не сразу очнулся от колдовского оцепенения.

— Она... живая?

— Не-эт. Чего нет, того нет! — засмеялся Михаил Капитоныч. — Но прыгать будет, когда ключиком заведешь. Забирай на и волшебный ключик, и Мартына Мартыныча.

— А ты... не обманываешь? — прошептал Толик.

— Можно полюбопытствовать? — обратился к Михаилу Капитонычу Бронислав Вадимыч. — Сколько, промежду прочим, стоит такая безделица?

— И не помню! — отмахнулся тот с беспечностью миллионера.

— А мне... не уступите? Я заплатил бы двойную цену.

Весь вспыхнув, словно бы по его лицу пробежала пламенеющая зарница, Михаил Капитоныч сгреб со стола игрушку, сунул ее в руки Толику и почти грубо оттолкнул его от себя.

— Беги без оглядки!

А когда Толик, чувствуя себя несчастливейшим человеком на земле, и в самом деле без оглядки кинулся вон из «гостиной», Михаил Капитоныч раздраженно процедил сквозь зубы:

— Где, ну, где видел я эту гладкую, как заднее место, харю? Вы не подскажите, Дарья Андревна?

— Это вы... о Брониславе Вадимыче? — с испугом переспросила Дашура. — Так это ж наш мастер... из судоремонтного завода. Только с зимы они в Астрахани живут.

— Ах, во-он оно что! Как же я сразу его не признал? Он мне прошлой весной радиоприемник чинил. И само, собой, ободрал, как липку. — Михаил Капитоныч слегка откинулся назад. Левое плечо его опять дернулось, и его повело вверх. — Милая ж ситуация: сижу за одним столом с виноградным куркулем! С тем самым, который из самодельного миномета жену расстрелял! А потом от позора в Астрахань сбежал. Ну, ну!

— Как ты смеешь... ты... ты, — Бронислав Вадимыч олютело выскочил из-за стола, сжимая боксерские свои кулаки. — Я тебя... я тебя сейчас...

Всполошилась и Дашура. Она бросилась к столу и смело встала между разгневанным Брониславом Вадимычем — дышал он тяжело, со свистом, и внешне спокойным Михаилом Капитонычем, сидевшим как ни в чем не бывало на своем месте.

— Утихомирьтесь, Бронислав Вадимыч, — говорила с дрожью в голосе Дашура, торопливо смахивая рукой с побелевшего лба спутанные, с медным отливом волосы. — Сядьте-ка обратно на стул, тут просто недоразумение вышло. Михаил Капитоныч... где ему доподлинно все знать? А люди всякие есть — и завистники, и сплетники разные. Вы тот самопал не для гибели своей жены заряжали, а обороняли сад от лихого человека. А случайно она нарвалась... Сад-то ваш, помню, ломился от винограда. Как тут не позариться...

— Перестаньте, Дарья Андревна! — поморщился Михаил Капитоныч, вытягивая из кармана помятых галифе сатиновый кисет. — Уши вянут от ваших слов. Зачем, ну, зачем защищаете хапугу?

— Пойду, атмосферой вечера подышу, — буркнул Бронислав Вадимыч. — Упреждаю, Дашура: будешь свидетельницей. Я в суд подам. Я его за оскорбление личности притяну, как миленького!

И, обойдя Дашуру, он, мрачный, прошагал в прихожую.

Когда за Брониславом Вадимычем захлопнулась тяжело дверь, Дашура горячо зашептала:

— Уж я вас прошу, так прошу: не связывайтесь с ним больше! А то и до греха недолго... вон он какой бугай.

— Не боюсь! — Михаил Капитоныч протестующе вскинул голову. Задиристый хохолок его трепыхнулся и замер торчмя. — Фрицы поздоровее встречались, да я с ними...

В «гостиную» заглянула Астра.

— Я, видимо, опоздала, — весело спросила она. — Что у вас здесь, Дашура, произошло? Драка, скандал или то и другое?

Дашура замахала руками:

— Типун вам на язык!.. Ну, поговорили мужики громко, ну... и все тут.

Она попыталась улыбнуться, а губы задрожали.

Скользнув быстрым взглядом по Михаилу Капитонычу, окутанному едучим, впрозелень, дымом, девица направилась к себе в комнату. С порога, приостановившись, она крикнула:

— Когда освободишься, Дашура, загляни ко мне.

Кивнув вслед скрывшейся за дверью Астре, Михаил Капитоныч протянул насмешливо:

— Девица, видать, горячих кровей?

— Жиличка. — Дашура принялась собирать со стола посуду. — Заманили ее в чужие края, а теперь...

— На мели сидит?.. Промашку, значит, дала? — затушив окурок о подошву кирзового сапога, Михаил Капитоныч сунул его в карман вместе с кисетом.

Повернулся к окну, посмотрел на вечеряющее небо с большим, зарозовевшим снизу, ленивым облаком в недостижимой синей пустоте, на мирную пестроту плывущих по Волге льдин, как бы охваченных одним скрытым стремлением — поскорее увидеть долгожданное море, теперь такое уж близкое.

Вскинув на Дашуру, воспаленные глаза, Михаил Капитоныч спросил:

— Где прикажете, Дарья Андреевна, прилечь? Завтра на самой зорьке похрамаю в свое Песчаное. И мне разные там простыни не стелите. Нет, нет, не надо. А полтинничек вот возьмите за койку. Я пока богатый: друг фронтовой в Астрахани десяткой снабдил. Дотяну до пенсии.

Он засмеялся. Еще раз глянув в окно, добавил, вставая:

— Добрая катится вёснущка, ничего не скажешь!

Глава шестая

Около двух часов не было Дашуры дома.

Уложив Толика спать в этот вечер чуть пораньше обычного, она пошла с телеграммой Астры на почту. Жиличка просила родителей срочно выслать ей на обратную дорогу в Москву двадцать пять рублей.

За телеграмму нужно было платить пятьдесят три копейки, и тут Дашура вспомнила, что забыла взять кошелек. Волнуясь и краснея, она выгребла из карманов телогрейки всю мелочь.

— Четырех копеечек не хватает,— потерянно сказала она.— А если... я завтра донесу?

Незнакомая девица с поджатыми сиреневыми губами, внимательно наблюдавшая за Дашурой из-за массивного барьера, раздраженно отрезала:

— Я завтра не дежурю.

Перечитала текст телеграммы и так же раздраженно добавила:

— Давайте сюда ваши копейки. Вычеркну «обнимаю целую» и тогда хватит.

С почты Дашура возвращалась в забродивших уже сумерках — по-весеннему зыбуче-черных, осторожно обходя оловянно-тусклые лужи с редкими и тоже почему-то тусклыми звездами.

Несмотря на непоздний еще час, кривые улочки Осетровки были странно безлюдны, не во всех избах горел и свет. Готовясь к весенней путине, рыбаки вставали рано, на зорьке, рано же и заваливались спать, обезножев от усталости за долгий день.

Вокруг было пещерно сыро, от камышовых крепей, из-за Кучина ерика, тянуло прогорклым дымком палов, из затона, где целыми днями заядло тюкали киянками плотники, точно старательная стая дятлов, пахло остро масляной краской и смолой. С Волги же нет-нет да и задувал в лицо свежий резкий ветер, донося шум ледохода.

И Дашуру радовали эти тревожащие весенние запахи. Еще будут, возможно, свирепствовать северные ветры, даже снег может выпасть, и все равно долгожданное тепло не за горами, и скоро уж не надо будет топить в доме по два раза в день прожорливые голландки, греть много воды для стирки белья, расчищать в белых сыпучих сугробах дорожки.

В конце улицы, упиравшейся в заросли голого пока

лозняка, за которым начинался обрывистый берег, Дашура, еле вытаскивая из вязкого месива ноги, обутое в разношенные кирзовые сапоги, свернула с раскисшей дороги в узкий переулок.

По жавшейся вдоль плетня тропке, каким-то добрым человеком закиданной в натруску камышом, она подошла к приземистой мазанке, сверкающей всеми своими четырьмя окнами.

«Мелаша, наверно, одна со своим выводком блаженствует», — подумала Дашура, заходя во двор, если только можно было назвать двором узкое, ничем не огороженное пространство между мазанкой и позьмом соседей, все в кочках и сухом прошлогоднем бурьяне. На месте бывшей когда-то калитки сиротливо торчали два столбика — в эту зиму их что-то пощадили, не сожгли.

Подходя к массивной железобетонной плите, заменявшей крыльцо, Дашура, услышала бойкую Мелашину скороговорку:

— Уж завтра, золотые-серебряные мои, завтра... и пряников медовых и леденцов...

«Как есть одна, — подумала Дашура. — И деньжата, похоже, завелись. Неужто Иван аванс выклянчил, а пропить не успел? Мелаша перехватила? — На шероховатой плите, купленной непутевым Буркиным у проезжего шофера за двадцатку, которую они вместе же пропили, Дашура с минуту постояла, с улыбкой прислушиваясь к звонким детским голосам. — Если б не они, ласточки, какая б у несчастной Мелаше жизнь была? Они, только дети, и скрашивают горькую ее участь... как вот мою мой сынарь».

Поправив на голове полушалок, она шагнула в темные сенцы с дырявой крышей и распахнула никогда не запиравшуюся дверь в избу. Шумливый Мелашин выводок встретил Дашуру дружным верещанием:

— Наша тетечка пришла!

— Здравствуйте, тетя Даша!

Над просторным столом возвышалось восемь рыже-белых головенок с торчащими туда-сюда косичками, будто подсолнечные шапки на огороде. Когда Ивана корили за его бесшабашные пьянки, он с мрачной шутливостью защищался:

— На моем месте любой бы с кругу спился! У меня ведь не дом, а бабий монастырь.

Во главе стола, спиной к печке, сидела грузная, но

всегда увертливая, пышущая здоровьем Мелаша, строго следя за порядком.

— Каким тебя, Дашурынька, ветром занесло? — тоже обрадованно сказала Мелаша. — Похлебаешь с нами рыбных щец?.. Раскопала на подоловке мешок сушеной мелюзги. По весеннему времени и малявка за осетрину идет!

И она беспечно и весело захохотала.

— Спасибо, — ответила от порога Дашура. — Я на одну разъединственную минутку.

— А ты проходи, не бойся. Ирода-то нет. С бригадиром в Астрахань смотался за новым неводом. Девки, ну-ка подайте стульчик.

Аленка, третьеклассница, самая старшая, проворно поставила перед Дашурой колченогий табуретик.

— Разве что на полсекундный момент, — улыбнулась Дашура и осторожно присела. — На почту бегала. А обратно шла, дай, думаю, заверну...

Ее перебила хозяйка:

— Чтобы не запомнить: у тебя остановился этот хореk... ну, Киршин пузран?

— Да. А ты откуда узнала, что он приехал?

— Как же! Чай Хмуркины сказали, его бывшие соседи. — Мелаша сделала большие глаза. — Виданное ли дело: судиться с ними прикатил... Эй, ты, голопузая баржа, подряд второй кусок тащишь? — И она погрозила ложкой раскрасневшейся девчурке, сидевшей по правую от нее сторону.

— Су-удиться? — теперь у Дашуры округлились ее серые бесхитростные глаза. — Да по какому случаю?

— А помнишь, у Киршиных и Хмуриных на два сада один колодец был? А копал колодец будто хореk трех-жильный, он и трубы доставал... Ну, а как продал он свои хоромы с садом после смерти жены от жуткой трагедии, то потребовал с Хмуриных денежки за работу и трубы, а они ему... — Тут Мелаша пустила в ход свою ложку. На этот раз затрешины достались сразу двум девчонкам. — Ишь, вы мне, привередливые тихони! Подавай им одну севрюжatinку!

...Когда Дашура подходила к заезжему дому, в «гостиной» улыбчиво и зазывно, как и у Мелаши, светилось большое окно.

«Киршин, наверно, сычом сидит за столом и газету глазами сверлит, — подумала Дашура неприязненно о Бро-

нисулае Вадимыче. И у нее как-то сразу испортилось настроение.— Посижу-ка на лавочке у ветел».

Она направилаь к берегу. Чуть ли не у самого обрыва притулились громадные ветлы — корявые и дуплястые, с голыми и тоже перерученными узловатыми ветвями.

В первый год своей жизни в Осетровке, в этом доме на отшибе, старые ветлы страшили ее своей уродливостью. А потом она к ним привыкла. А потом и полюбила. Летом, в палящий зной, всегда можно было отдохнуть в тени зеленеющих на радость людям мужественных кудлатых великанов.

Опустившись на щербатую скамейку, Дашура спрятала в карманы телогрейки зябнущие руки.

Глядя на неповоротливые льдины, трущиеся о забойку — сваи, оплетенные ивняком — древнее, как сама жизнь, береговое укрепление, она подумала: «Опять к ночи лужи заморозит».

Колючий низовой ветер час от часу все резче, все напористее задувавший с той стороны, поджигал плывший по Волге лед к этому — правому — берегу.

«Большой ныне ледоход. И конца ему вроде не видно. И этот ветер к ночи... как бы чего не надул». И тут Дашура подумала о прошлой — такой ералашной ночи, подумала и о своем странном, до жути странном сне, прерванном отчаянными криками истеричной жилички Астры.

«Ох, и дуреха же я! Право слово, дуреха! — попрекнула себя Дашура.— Ведь и забегала-то к Мелаше за тем, чтобы про свой сон рассказать. А начала Мелаша разговор о Киршине, и память у меня как захлестнуло!»

Сон тот был мимолетный, обрывочный, но Дашура все в нем видела до последней мелочи с той поразительной, нечеловеческой ясностью, какая никогда не случается наяву.

Незадолго до полуночи, украв одеялом разметавшегося Толика, Дашура сразу же уснула. И сразу же увидела она себя с Егором. Вначале они брели глухим сумрачным оврагом, продираясь сквозь колючий кустарник. Сильный и ловкий Егор, шагавший впереди нее, то подныривал под низко нависшие ветви, то руками разводил их в стороны.

Молчаливая Дашура уже начала тревожиться; не заблудились ли они, как вдруг сырые, комариные заросли кончились, и они очутились на бескрайней, пугающе бескрайней равнине с колосившейся пшеницей, волнами зыбившейся под напором игривого ветерка.

Бескрайняя райская равнина сливалась слева, как море, с небом, а в правой ее стороне — вдали — уступами поднимались вверх дикие, непроходимые леса, вызывая в душе то восторг, то страх. Прямо же перед Егором и Дашурой — у самого горизонта — маячили легкими, невесомыми контурами узорчатые башни и дворцы неведомого царства.

— Не отставай,— жестко, не оборачиваясь, бросил через плечо Егор.

И шаги его стали еще шире.

«Мне тяжело, я устала, Егор,— чуть не взмолилась запыхавшаяся Дашура.— Неужели ты ни на капельку мне не сочувствуешь: хожу-то я последний месяц?»

Но она промолчала. Она боялась рассердить Егора.

А Егор с каждым шагом все удалялся и удалялся от нее. Он шел удивительно легко по прямой, до скучности прямой дороге, как бы безжалостно прорубленной в густущей, высокой пшенице.

И тут Дашура припустилась бежать, выбиваясь из последних сил. Казалось, еще миг, другой, и она догонит Егора, и тогда... Она не знала, что будет тогда, знала лишь одно: нельзя ей отставать от Егора, иначе он уйдет, уйдет от нее навсегда.

В это время как раз и застучала бешено в дверь Дашуриной комнатунки московская девица. Дашура была даже рада, что ее разбудила Астра, а то кто знает, чем бы кончился этот так расстроивший ее сон?

«Об одном жалею — личности Егорушкиной я не видела. Он все шел, все турился вперед... так ни разочку и не обернулся,— подумала Дашура, глубже пряча руки в карманы телогрейки.— А мне больно хотелось посмотреть ему в глаза. Хотелось сказать ему: «Егор, ведь я тебя так люблю! Никто, ни одна женщина тебя так не любила и любить не будет. Зачем же ты меня бросил? Неужели у тебя каменное сердце?» Кто знает, может, он и услышал бы эту мою мольбу? Говорят, случается такое — душа душе весть подает».

Она зажмурила уставшие глаза и, стараясь ни о чем больше не думать, сидела, не шевелясь, долго-долго, хотя и руки, и ноги стали зябнуть на ветру. Даже спину покалывали острые ознобные иголки. Он, этот резкий студеный лобач, представлялось, задувал, тешась себе на радость, не с Каспия, а со снежных гор, обдавая Дашуру ледяным дыханием.

Вдруг она спросила себя: «А в каком году мне баба Тоня мочки на ушах прокалывала? Погоди, погоди... Ну, как же — вспомнила: накануне Первого мая это было. Мне вот-вот пятнадцать должно было исполниться. Бабка Тоня прокалывала мне мочки тайком, чтобы другие не знали, в нашей банешке. А больно-то как было! А она, хитрая, чтобы меня утешить, тихо и ласково нашептывала: «Ушки у тебя, коза, махонькие да розовые, что тебе прелестные раковины из моря-океана. В такие-то ушки только сладкие доверительные слова кавалеру говорить». Я же про себя, думала: «А что, если Егорка будет мне шептать... эти сладкие слова? Может, придет время, он мне и сережки серебряные подарит?» И вот пришагал наконец-то долгожданный майский праздник со всеми прелестями и волнениями. Вечером в нашем курмыше, на привольном для сердца волжском берегу, собрались парни с девками и мы — подростковая мелкота. Все нарядные да веселые с избытком. Кто с гармошкой, кто с балалайкой. А какой-то чудило даже патефон с пластинками приволок. Смотрю, а мой Егорка глаз с Раечки не сводит. Эта Раечка с отцом-скорняком зимой на улице нашей поселились. Дальние они были, чуть ли не из-под Минска, и Райка, надо правду сказать, писаной красавицей была: глаза синие-синие, как у фарфоровой куколки, а волосы каштановые — густущие-прегустущие. На нее-то и зарился Егорка. Надо и другое добавить; с капризцем Раечка была, но тут ничего не поделаешь — красавицам, видно, многое прощается в жизни. За весь вечер Егорка на меня так и не глянул, будто моей личности и не было на этом свете. Ушла я с праздника в слезах. «Неужто я совсем уродина?» — спрашивала себя, в печали расстроенной души ворочаясь ночью с боку на бок. А поутру пошла за водой. Тихо на речке, вода спокойная, светлая. Встала на мосточек, наклонилась, чтобы зачерпнуть ведерко, и вдруг увидела себя во всей портретной красе: лицо вытянутое и все в веснушках, будто грязью забрызгано. Подкачали и брови — сразу не разглядишь, есть ли они у меня, а нос... не нос, а одна смехота! Ну, и снова я разревелась. Прихожу на птичью ферму... когда кончила семилетку, тетка Агаша не позволила мне дальше учиться. «Иди-ка сама себе кусок на пропитание зарабатывай, дядя один разорваться не может. А грамотеев и без тебя некуда девать». Это тетка Агаша мне так бесповоротно решительно отрезала. Ну, что тут оставалось делать? Раскинула я тогда умом и ни

к чему другому не пришла, как обратилась за советом к Валентине Дашиловне, Егоркиной матери, та и устроила в совхоз птичницей. Ну, вот, прихожу после Первоя на ферму, а девки в один голос: «Дашурка, курочка наша рябая, ты никак горчицу чем свет заваривала?» — «Какую еще горчицу? — спрашиваю. — Выдумщицы вы и пустобрехи длинноязыкие!» А они, насмешницы, свое: «Ну, тогда хрен терла? Глаза у тебя — заплаканы-переплаканы». Не удержалась я, да и снова в рев продолжительный пустилась...»

В ту весну Егор заканчивал десятилетку. Он много занимался, готовясь к экзаменам. В редкие же свободные вечера, принарядившись, отправлялся к Раечке под окно и подолгу уговаривал капризную девчонку пойти с ним в кино.

Дашура старалась не проворонить того момента, когда Егор выходил из своей калитки, и неторопливо, с независимостью взрослого, вышагивал мимо дядиногo пятистенника — нарядный и статный.

Спрятавшись в палисаднике за сиренью, Дашура, вся горя от волнения, не спускала с Егора глаза до тех пор, пока он не скрывался за тополями.

За зиму Егор заметно возмужал: вытянулся, раздался в плечах, не утратив своей юношеской стройности. Ему шла эта белая рубашка, с завидной тщательностью отутюженная сестрой, оттенявшая нежную смуглость тонкой шеи и вороненую черноту волос. Ладно сидели на нем и серые, в обтяжку, брюки. А модные сандалеты, наверно, сорок второго, а то и сорок третьего размера, вызывали зависть многих подростков.

«Знал бы ты, Егорка, какой славный ты мальчишка. Лучше тебя нет никого в нашем Старом посаде, — Дашура норовила думать как можно спокойнее, а сердце колотилось гулко и дробно. — А она, задавала Райка, не очень-то тебя замечает, то и дело воротит от тебя свою кукольную мордочку».

После экзаменов выпускники десятилетки отправились на лодках на остров с ночевкой. И хотя Раечка не кончала в эту весну школы, а лишь перешла в десятый класс, Егор ее все же взял с собой на пикник.

Но там, на Телячьем острове, между ними, по-видимому, пробежала черная кошка. И Егор перестал паряжаться и ходить под окна дочки скорняка.

«Подожди, Егор, она тебе еще мно-ого попортит крови, эта писаная красотка!» — сетовала про себя не без ехид-

ства Дашура, страшно тоскуя по той простой, незатейливой дружбе, которая длилась между ними столько лет.

Отец советовал Егору подавать заявление в Сызранский автодорожный техникум, а тот послал документы в мореходное училище — не то в Одесское, не то в какое-то еще, и ждал, томясь, ответа.

После отъезда Раечки в Минск в гости к тете Егор часенько уезжал с мальчишками на два-три дня на рыбалку в устье Усы — радушно тихой речушки в Жигулевских горах.

А Дашура, которой так не хватало в это лето Егора, изредка сидела вечерами на Черном мысу — осклизлом обрыве, свесив под яр ноги. Здесь было самое глубокое место на Телячьем воложке. Даже под осень, случалось, у Черного мыса тонули люди.

Уставясь на кипящий, пенящийся омут и не испытывая ни малейшего страха, Дашура нередко спрашивала себя: «Может, мне броситься туда вниз головой? Ведь я никому-то не нужна. Никто и плакать не будет. Разве что баба Тоня чуток повопит».

Как-то томительно сухим и горячим июльским вечером Дашура допоздна засиделась на Черном мысу. Неподалеку от берега тяжело ухалась и ухалась шальная рыбина — не то соменок, не то сазан. С той же стороны, с острова, доносилось тоскливое посвистывание ночной птицы, будто потерявшейся, одинокой во всем мире.

Присмирившая Дашура все смотрела и смотрела до ломоты в глазах на бурлящий коварно водоворот под самым обрывом, так чарующе прекрасный своей тайной, неподвластной человеку, жизнью. Вкрадчивый голос нашептывал на ухо: «Прыгай, ну, прыгай, не раздумывая! Ты увидишь и черную, недоступную другим, ямину под берегом, и ленивых сомов под корягами. Прыгай! Ну, чего ты все медлишь?»

Дашура не слышала шагов остановившегося позади Егора. А он, нагнувшись, вдруг крепко зажал ей руками глаза.

— Ой! — вскрикнула до смерти перепуганная Дашура. — Ну пустите... пустите же!

В тот же миг ее осенила радостная догадка: «Да это ж Егор, ее Егор вернулся к ней!» И она, чуть не задохаясь от волнения и в то же время скрывая от Егора свои чувства, ледяным голосом произнесла:

— Отвяжись, чего пристал? Ты лучше Райку свою... когда вернется...

Дашура не успела договорить, как Егор, точно тигр, схватил ее в охапку и вскинул над головой.

— Брошу сейчас в омут, и будешь знать, как дерзить старшим! — пригрозил он с шутливой свирепостью.

Дашура в отчаянии крикнула:

— Ну, и бросай! Мне жизнь не дорога!

Егор тотчас поставил ее на ноги. Оба они тяжело, бурно дышали, не глядя друг другу в глаза.

— Эх, и увалень же ты... несуразный! — засмеялась неожиданно Дашура — дерзко, с вызовом. — Раечка потому и сбежала от тебя... несмелого.

И хотя было темно — луна все еще медлила показываться из-за острых верхушек прямоствольных сосен Кунеевского бора, но Дашура заметила, как Егорово лицо все вмиг прочернело от прихлынувшей к нему крови. Он не сразу нашелся что и сказать:

— Ты... ты так думаешь?

— А чего мне думать — я знаю. Райка одной девочке призналась: он и обнять-то боится, не то что поцеловать!

Дашура засмеялась.

— Тебе и меня слабо поцеловать!

И побежала, побежала вдоль самого обрыва по холодному сыпучему песку.

— Поймаю, тогда смотри, дурешка! — пообещал Егор, бросаясь вслед за Дашурой.

Она бежала легко, стремительно, думая лишь об одном: ни за что, ни в коем случае нельзя попадаться Егору в его большущие, сильные лапищи! Но он все же догнал ее, обессиленную, на опушке бора и, повалив, стал жадно искать пересохшими, горячими губами ее губы. Но она все увертывалась, мотая головой, в то же время страстно ожидая того блаженного мига, когда их уста сольются в так долго ожидаемом ею исступленном поцелуе.

А потом они сидели, отвернувшись друг от друга. И молчали. Первой заговорила Дашура:

— Не сердись на меня, Егор. Я ведь все набрехала... насчет Раи. Она... она хорошая, она тебе пара. А я... я...

Дашура встала и побрела, еле волоча ноги, к немо черневшим вблизи окраинным домишкам и сараям, все еще надеясь, что Егор ее окликнет, позовет к себе. Но он не окликнул.

Тут как раз и показался над лесом краешек луны, и

первый луч ночного светила нежно и трепетно коснулся крыш неприхотливых строений, только несчастная Дашура ничего уж не видела...

После этого вечера они не встречались. Дашуре даже не удалось попрощаться с Егором, когда он собрался уезжать из Тепленького. Ходили потом слухи, что он не попал в мореходное училище из-за своей больной ноги. Не возвратился он и домой. С Раечкой, видимо, они помирились, и она теперь часто получала от Егора письма. Об этом Дашура знала от знакомой девчонки, учившейся вместе с дочкой скорняка. Егор будто бы работал где-то в порту и учился — не то на шофера, не то на моториста катера.

На другое лето, окончив школу, Рая поступила в Самарский медицинский институт. С ее отъездом Дашура лишилась и тех скудных весточек о Егоре, которые раньше случайно до нее доходили. Расспрашивать же о Егоре его мать или сестру Нюсю Дашура стеснялась.

И вот минуло три года. За повзрослевшей Дашурой, теперь так обращавшей на себя внимание парней приятной бледностью и тихой задумчивостью грустных глаз, стал было ухаживать вернувшийся из армии Колечка Копчиков, часовой мастер артели «Время», смирный, ничем не приметный молодой человек.

Трижды Дашура сходила с Колечкой в кинотеатр, и все эти три раза, провожая ее домой, он нудно и долго рассказывал о разных марках часов, какие ему приходится чинить. Прощаясь в третий вечер с ухажором, Дашура, потупя взгляд, сказала:

— Вы уж не утруждайте себя... не заходите за мной больше. Часовщика из меня никогда не получится!

А в начале сентября, когда уже не за горами была дождливая, голая, бесприютная осень, нагрянул вдруг в Тепленькое Егор.

Дня четыре он отсыпался, потом ходил навещать старых школьных дружков — они тоже почти все разлетелись кто куда. Раз Егор вернулся домой поздно ночью пьяненьким. Дашура, все еще ночуя в своей банешке (обе бабки к этому времени умерли), слышала пререкания Егора с отцом, отпиравшим ему сенную дверь.

«Ох, и смешной он, поди, выпивши,— подумала Дашура с нежностью, кутаясь в старое стеганое одеяло — ночи стояли звездные, прохладные.— Идет, наверно, и загребает ногой песок... будто косолапый Мишка».

На другой день под вечер поднималась Дашура в гору с полными ведрами, а навстречу ей — молодцеватый Егор.

— А, соседка... сколько зим, сколько лет!

Егор попытался по-свойски взять из рук Дашуры ведро, но она воспротивилась. С улыбкой сказала:

— Капитанам не положено. Девки и бабы смеяться будут.

— Ишь ты... колючка какая! — засмеялся добродушно Егор. И сразу же прибавил: — Прошвырнемся, Дашура, нынче в кино?

— Спасибо. — Она искоса, украдкой, жадно оглядела Егора с головы до ног. Морская фуражка с лакированным козырьком лихо сдвинута на ухо, заграничная куртка с множеством блестящих «молний» плотно обтягивала его широкую спину... Лицо обветренное, под горячими, живыми глазами чуть заметные припухлости.

«Эх, Егор, Егор! Неужто ты набаловался пить, как и другие? — с болью в душе подумала Дашура. — Зачем, ну, зачем это тебе?»

— Значит, ходим в кинотеатр? — опять спросил Егор, касаясь ладонью Дашуриной поясницы.

И она, только что собравшись было уступить его просьбе, грубо отрезала:

— Убери руку! Некогда мне по кино разным разгуливать.

Но Егор был настойчив. Заступив Дашуре дорогу, он шепнул, невинно улыбаясь:

— Нынче приду к тебе... в твою баньку. Не запирай дверь.

Мертвенно бледнея, Дашура испуганно и беспомощно взглянула на Егора.

— Только... попробуй!

Он пришел поздним вечером, когда и в том, и в другом доме все уже спали. И Дашура впустила его к себе в предбанник, срывающимся шепотом умоляя:

— Уходи, не трогай меня, Егор!.. Пожалей, ну, кому я потом нужна буду?

Но Егор ее не послушался.

И две недели, прешными темными ночами, ни о чем уж больше не думая, она обнимала и ласкала своего Егора, обнимала и ласкала украдкой от людей. Дашуре казалось теперь: он поверит наконец-то в ее безмерную, безрассудную к нему любовь и не осмелится бросить, оставить ее одну, — слабую, никому не нужную.

А когда кончился у Егора отпуск, он уехал, не дав Дашуре даже своего адреса. Через месяц она уже знала, что будет матерью. Месяца три после этого ей еще удавалось скрывать от чужих сверлящих глаз свой позор.

Однажды в метельно-ветреный, странно тревожный день у самой почти калитки Дашуру окликнула Нюся, сестра Егора, работавшая все эти годы учительницей в начальной школе.

— Здравствуйте, Дашура,— сказала тихая, миловидная Нюся.— Как поживаете?

Дашура вся вспыхнула. Никогда еще не было случая, чтобы сестра Егора — маленькая и кругленькая девушка, точь-в-точь вылитая мать, останавливала Дашуру поговорить.

— Спасибо... ничего,— ответила с запинкой Дашура.

— Давайте... пройдемся,— тоже запинаясь, попросила Нюся, отворачиваясь от ветра.

Лицо сек жесткий, будто крупный песок, снег — первый в наступившей зиме. Он хлестал и хлестал, казалось, не с низкого, слепого неба, а из-за подступившего к городу бора, и не только Жигулевских гор или столетних осокорей на той стороне воложки не было видно, но даже дом Томилиных еле вырисовывался сквозь мельтешившую перед глазами зыбучую пелену.

Нюся взяла Дашуру под руку, и они пошагали, подгоняемые метелью, по хрусткой снежной россыпи, ничего не видя впереди себя.

— Что же вы, Дашура, дальше намерены делать? — спросила сестра Егора после неловкого, тягостного молчания.

Сама не своя, Дашура невнятно пролепетала:

— Я... не понимаю... о чем вы?

— Полноте! Зачем вам от меня скрывать? Кто-кто, а я-то все видела... у кого проводил Егор свой отпуск.

— Вы... я даже... — не зная, что говорить дальше, Дашура потупилась, наклонив низко голову.

А Нюся, точно опытный следователь, задавала уже новый вопрос:

— Какой месяц пошел?

И Дашура сдалась.

— Четвертый,— еле слышно обронила она и чуть не заплакала.

— Он, конечно, не пишет?

Дашура помотала головой.

— Он и нас не балует вниманием.

Приподняв пальчиком Дашурин подбородок, Нюся ободряюще улыбнулась.

— Не вешайте носа. И берегите себя. И никому — ни-ни! Понимаете?.. Я что-нибудь предприму. Ждите терпелива — извещу. А теперь — пока.

Снова мило улыбнувшись, Нюся свернула с передуманной ветром тропинки к своему дому.

Дашура же не решилась сразу идти в шатровый пятистенник. Ей показалось, когда они прогуливались с Нюсей по улице, в окна подсматривала любопытная тетка Агаша.

Скандал тетка Агаша закатила не в этот вечер, как думала Дашура, а на другой. Даже вот сейчас Дашуре было нестерпимо стыдно вспоминать, какими грязными словами оплевывала ее раскосмаченная тетка, дико кося своими выпученными глазами.

Все ее дети, начиная с только что просватанной за счетовода сельпо Лизочки и кончая четырехлетним сопливым Игорьком, тоже косящим, как и мать, слушали, затаив дыхание, эту визгливую брань.

Дядя сидел-сидел, бледнея и морщась, а потом встал и молча ушел в спальню.

— Вы напрасно, тетечка, расстраиваете себе нервы, — взяв себя в руки, сказала Дашура. — Не бойтесь, в тягость вам не буду. Вот подыщу угол и уйду. Только... не забывайте только о своих девочках — их у вас пяток. Еще не известно, что их ждет впереди.

И, не прибавив больше ни слова, полезла на печку. Она проплакала всю ночь, уткнувшись мокрым лицом в рваный пиджачишко, заменявший ей подушку.

В феврале заботливая, внимательная Нюся сообщила Дашуре адрес Егора.

— Где-то под Астраханью есть Осетровка — не то село, не то поселок, — предусмотрительно оглядевшись по сторонам, заговорила Нюся, встретив возвращавшуюся с птицефермы Дашуру на соседней улице. — Там когда-то жил папин дядя. Вот Егор сейчас туда подался. Шофером устроился на завод. Поезжайте к нему без промедленья!

Прежде чем расстаться, Нюся чмокнула Дашуру в щеку холодными некрашеными губами.

Всего два дня ушло у Дашуры на сборы. До Самарска она доехала автобусом. На вокзале узнала, что ее скудных рублишек, полученных в совхозе при увольнении, хватит на билет лишь до Саратова. Что ей еще оставалось

делать? Дашура рискнула — была ни была! — и покатила в Саратов, веря в слова, которые часто говорила покойная мать: мир не без добрых людей!

В Саратове одна жалостливая женщина, буфетчица, временно пристроила Дашуру в рабочую столовку мойщицей посуды. Она же, эта Надежда Ивановна, уступила Дашуре и угол в своей комнате.

В конце июня, поднакопив малость денег, Дашура пароходом отправилась в знойную, пыльную Астрахань. В дороге начались схватки. Раз ночью было так плохо, что она подумала, кусая губы: «Видно, последние мои минутки настали». А к утру стало получше, и Дашура не только благополучно до Астрахани доехала, но и разыскала Осетровку — рыбацье село на берегу широкой протоки, одной из многочисленных протоков в дельте Волги.

В Осетровке ее ждал страшный удар. Оказалось, что ни на судоремонтном заводе, ни в местном рыбацком колхозе и знать не знали Егора Томилина. Здесь просто-напросто никогда не появлялся такой парень.

Сходил вечер, мглисто-пепельный, удручающе-душный, а измученной, сморенной усталостью и жарой Дашуре негде было даже переночевать. Один пожилой мужчина в засаленной спецовке и посоветовал Дашуре пойти в дом для заезжих. Часа два, а может и все три, плелась Дашура до стоявшего на отшибе от села старого купеческого особняка, дряхлеющего год от году.

То и дело она отдыхала. Садилась на все встречные по дороге скамейки.

Какая-то скрюченная бабка, стоя у раскрытых ворот, долго глядела на Дашуру из-под черной, иссохшейся руки. А потом прошамкала, обращаясь к внучке, державшейся за ее юбку:

— Запоминай, Маринка, запоминай!.. Наградил, паскудник, наследником, а она, горемычная, теперь майся!

Прехорошенькая шестилетняя девчушка, хлопая испуганно длиннущими загнутыми ресницами, прижалась к бабке, ничего не понимая. А та все твердила:

— Запоминай, касатка! И в девках, упаси владычица, берегись такого страму!

Во дворе дома для заезжих Дашура встретила немолодую высокую женщину, ни толстую и ни худую. Густые, сросшиеся у переносья брови придавали ее и без того угрюмому лицу суровую неприступность.

Дашура не успела даже разомкнуть искусанные в кровь

спекшиеся губы, как женщина, ровно угадав, в каком бедственном положении находится пришлая неизвестно откуда девушка с провалившимися глазами, бросилась к ней навстречу, по-бабьи причитая:

— Ах, родная моя ласточка, да как это ты допрыгала досюда? Ну, пойдем, пойдем в мои палаты, я тебя на постельку уложу, а потом чайком... Узелок-то мне давай, я его сама понесу. Тихохонько шагай, тихохонько... а потом чайком угощу.

Наутро Дашура родила мальчика. И Васса Архиповна, совсем незнакомая до вчерашнего дня женщина, такая с виду суровая, стала для Дашуры второй матерью.

Год прожили они втроем в тесной боковушке Архиповны, один простенок которой был оклеен облигациями. Во время минувшей войны женщина эта потеряла и мужа и детей — двух сыновей и дочь, исплакав о них все слезы, и сейчас как бы заново начинала жить, нежно заботясь о Дашуре и ее здоровущем малыше. Оправившись от родов, Дашура устроилась работать в столовую сельпо. Когда же Вассу Архиповну выписал к себе в Ленинград одинокий племянник, офицер флота, она уговорила Дашуру заступить на ее место «управительницей» заезжего дома.

В первые месяцы после родов Дашура раз пять писала в Тепленькое Нюсе, сестре Егора. Но та не ответила ни на одно письмо. И Дашура перестала писать. Иногда она наводила справки у заезжих с Каспия рыбаков: не встречался ли им случайно чернявый парень, Томилин по фамилии? «Нет, нет, говорили мужики, что-то такого не помним. Вот Тамарова Петьку из Икрыного, краснорожего пройдохистого мазурика, знаем. Томилина... нет, не встречали».

Глава седьмая

Наконец-то Дашура приневолила себя встать.

«Экая башка неразумная,— обругала она себя, не попадая зуб на зуб.— Расселась, будто летом. А он, март, свое ой-ёй как берет!»

Заходя во двор, она услышала веселые, хмельные голоса, доносившиеся из дому. То и дело хохотала Астра.

«Уж не заявился ли ее общипанный седовласый королевич?» — подумала Дашура, закрывая калитку на завертышек.

Окно в «гостиной» было задернуто белесенькой занавес-

кой — небрежно, наискось, и она, проходя по дорожке, ничего в нем не увидела.

И вдруг часто-часто заколотилось в груди сердце, охваченное щемящей тоской, а земля — или это лишь показалось? — накренилась и поползла, поползла из-под ног. Чтобы не упасть, Дашура схватилась одной рукой за столбик, придерживающий навес над крыльцом, а другой прикрыла глаза.

«Прозябла до печенок, вот и забарахлил организм, — успокоила она себя. — Проверю сейчас, кто там еще из новых постояльцев появился, и в постель. К утру все пройдет».

Но стоило войти в прихожую, как Дашура снова схватилась рукой за дверной косяк.

«Неужели... Егор там... в гостиной? — подумала она. — Или... или мне померещился его голос?»

Дверь в «гостиную» была полуприкрыта, и опять Дашура не могла видеть веселой компании за столом, зато сейчас слышно было все: и беспорядочный галдеж, и звяканье посуды.

— Досказывай, голова, досказывай... э-это самое... дальнейшее течение обстоятельств, — заговорил тут громко Бронислав Вадимыч, как-то противно гнусаво, с язвительной насмешливостью. — Ну, вытащил ты из горящего самосвала шофера, ну, отвез его в больницу... А как же ты опосля, щучья твоя голова, за решетку ухитрился попасть? У нас за геройские поступки... кхе-кхе... возносят и награждают! А тебя — в тюрьму!

Визгливо, по-лисы тявкнула пьяненькая Астра:

— Дядечка, перестаньте хрюкать! Дайте человека послушать.

Тот, к кому обращался Бронислав Вадимыч, ответил не сразу. Видимо, он вначале выпил чего-то крепкого, потому что крякнул по-мужски, от души крякнул.

Дашура ждала, ждала и боялась того мига, когда заговорит о н.

— Я сам... даже когда туда попал... не сразу поверил, что со мной не шутят, — с трудом выдавливая из себя каждое слово, сказал тихо, простуженным голосом, так похожим и так не похожим на голос Егора, неизвестный мужчина. — Ведь он что сделал, этот гад Мирзоев, ни дна бы ему, ни покрышки?! Ему не захотелось за сгоревшую машину монеты из собственного кармана выкладывать, вот он, опамятававшись после аварии, и в суд на меня подал:

будто я ему дорогу подсек. — Помолчал. И вдруг весело — Егор, да и только! — спросил: — А не опрокинуть ли нам еще по одной? Поддадим! На все гроши, какие у меня нашлись, зелья и закуски купил. Еще там дал слово себе: выйду на волю, и где бы ни остановился ночевать — непременно людям угощение поставлю. Ну, и Осетровка эта самая оказалась первым населенным пунктом на моем пути.

Опять захихикал по-бабьи Бронислав Вадимыч, похоже, совсем захмелевший от дарового угощения:

— Не бахвалься, голова, э-э... а правду, правду данной ситуации опиши. Мы не потерпим поклепа на... э-э... на правосудие наше!

— Иди-ка ты, фигура, подальше со своим правосудием! — взорвался тут новый пришелец. — Правосудие — правосудием, а судьи и следователи... тоже человеки! Я в стройконторе ишачил, а Мирзоев на рыбзаводе. Да к тому же у него директор брат родной. Братец-то директор и нанял наторелого адвоката... А икорки зернистой да осетринки свежей кто не хочет? У кого губа дура? У тебя, что ли? Ну, и то-то! За меня заступались: и шоферы, и начальство стройки, и к тому же профсоюз.

«Егор! Ну, он самый, мой Егор! «Губа не дура» — его любимая присказка, — думала лихорадочно Дашура, все еще стоя у двери. — Все-таки не зря... не зря я пять лет здесь куковала. Вот и появился бесшабашный мой... »

И снова заговорил он — но уже другим, ненавистным Дашуре голосом, так не похожим на голос того, ее, Егора:

— Осушим, кисуля? За твои многообещающие глазки!

— О'кей! — захохотала Астра.

А в следующую минуту он запел:

Белую розу, белую розу,
Белую розу решил сорвать тут я.

— К чертям твою па-анихиду! — рывкнул вдруг Бронислав Вадимыч. — Другую — веселую — давайте!

— Я кого просила не хрюкать? — повысила голос Астра. — Смотрите же у меня!

Но толстяк не унимался, он все еще плаксиво хорохорился:

— Я... а я что — не могу? Я... Я сам сейчас поставлю вам угощение. Во-о они, денежки! У меня их много. Пра, много!

«Так они и драку, чего доброго, затеют, и Михаила Ка-

питоныча разбудят... а он, болезный, до ужастей устал с дороги», — забеспокоилась Дашура.

Если бы другой был случай, она влетела бы в «гостиную», отволокла бы этого Бронислава, рыхлого тюленя, на его койку, а остальным приказала бы закругляться. Но сейчас... Дашура стояла ни живая и ни мертвая, все гадая: Егор или не Егор сидит в «гостиной»?

Бронислав Вадимыч затих, и опять запел тот:

Белую розу, белую розу,
Белую розу любил всего два дня.
Белая роза, белая роза,
Белая роза завяла навсегда...

— Грандиозно! — с неистовой пылкостью воскликнула Астра, бешено хлопая в ладони.

Здесь-то и случилось самое непредвиденное. Как ни готовилась Дашура к встрече с Егором, как ни желала она всем своим исстрадавшимся сердцем увидеть его, она не предполагала, что встреча эта произойдет вот сейчас и так обыденно просто.

Распахнулась вдруг дверь из «гостиной», и в прихожую вошел, слегка шаркая правой ногой, Егор, — невероятно худущий, отчего он казался еще выше, чем был на самом деле.

— Вы, наверное, мать-хозяйка в этом заведении? — спросил он, сразу заметив растерявшуюся Дашуру, не успевшую убежать к себе в комнату.

У Дашуры занялся дух.

А Егор еще раз, более внимательно глянул ей в лицо.

— Дашура?.. Ты ли это? — почему-то шепотом спросил он немного погодя. — Или я... ошибаюсь?

Беря себя в руки, Дашура тоже негромко сказала:

— Нет... Нет, Егор, ты не ошибся.

Она попыталась улыбнуться, но не смогла. Из глаз брызнули слезы — помимо ее воли. И как бы оправдываясь, она виновато добавила:

— Это с ветру у меня... На почту ходила, а с Волги...

— Как ты сюда попала? — теперь Егор совсем близко подошел к ней. — Я тебя искал. Ну, после того, когда я в отпуск в Тепленькое приезжал... после того, что между нами было. Месяцев через пять, должно быть, я письмо для тебя на сестру посылал. — Он помолчал. — Я тогда в Махачкале... и с работой, и с жильем неплохо устроился. Ну, и хотел, чтобы ты приехала, а сестра...

— А что сестра? Что она тебе написала? — спросила Дашура с дрожью в голосе, жадно глядя ему в лицо — осунувшееся, невероятно постаревшее. Лишь глаза, одни глаза были того, ее Егора — жаркие, отважно-дерзкие, да еще родинка-фасолина на упругом подбородке, которую он передал в наследство Толику.

— Сестра написала... Что она тогда написала? Да, как это принято говорить: твоя Дашура скрылась в неизвестном направлении.

— Неужели... она так и написала? — переспросила Дашура, надеясь, что она ослышалась.

— Да: уехала, мол, а куда — никто не знает: ни родные, ни знакомые. — Егор закурил толстую, дорогую папиросу. На щеках его набухли желваки. — И на меня тогда злость нестерпимая напала... Ох, и психанул же я! Райка Воронович — помнишь? — с нашей улицы, завлекала, завлекала, три года с ней переписывался, а она потом кукиш мне показала: за директора универмага в Самарске замуж вышла. Ну, а тут еще и ты... «И Дашурке, думаю, я тоже стал не нужен, а ведь давно догадывался — любит. И она, нате вам — будто в воду канула, ни слуху ни духу!»

Егор жадно затаился. С ярко вспыхнувшего кончика папиросы посыпались искры, и лицо его малиново осветилось и сразу помолодело. Что-то монгольское сквозило в облике Егора: и в черноте жестких волос, и в сухой смуглости кожи.

Ей, Дашуре, о многом нужно было рассказать Егору: и о том, как бедовала она после его отъезда из Тепленького, и о том, как по злой воле его сестры попала в эту неизвестную дотоле Осетровку всего лишь за день до родов, и о годах несладких, прожитых здесь, среди чужих людей, но она ничего не сказала. Она лишь молвила, с трудом отводя от Егора взгляд, хотя ей и хотелось смотреть, смотреть и смотреть ему в глаза:

— А как ты жил... эти годы, Егор?

Он еще и еще раз глубоко затаился.

— Как жил, говоришь? По-разному, — Егор повел плечами — худыми, но широкими и крепкими. — Всякое было — и хорошее, и плохое.

— Не женился?

— Были случаи — сходился. Раза два сам бросал — стервы подлые попадались. Но бросали и меня. Одна была — шикарная блондинка. Кажется, чуть ли не на руках

ее носил, а она... она к другому ушла.— Егор устало вздохнул. Помолчав, улыбнулся, как-то хищно ощерясь.— Плохого, пожалуй, было больше в моей развеселой житухе. А когда из-за одного мерзавца нежданно-негаданно за решетку попал... целый год ни от кого доброго слова не услышал, а та, которая клялась в вечной любви, на второй же день после суда надо мной смылась, прихватив все мои мало-мальски приличные шмотки... За этот год все у меня в душе перегорело, и теперь ни во что не верю — ни в любовь, ни в честность, ни в справедливость!

— Ну, что ты говоришь, Егор! — испуганно вскричала Дашура.— Нет, нет... и любовь, и верность, и добрые люди... ты только повнимательнее оглядись вокруг, на мир нашей жизни,— она подняла из-под ног упавший с головы полushалок.— Приглядись, Егор, и сам...

— А ты... ты совсем не стареешь! — сказал он, не слушая Дашуру. И потянулся, чтобы коснуться огрубевшей — в мозолях и ссадинах — ладонью ее пушистых, пахучих волос, падавших волнами на плечи.— Чай, тоже не безгрешна? Сколько разных петухов у тебя тут бывает!

— Не надо,— Дашура отвела его руку.— Как у тебя, Егор, язык повернулся... говорить мне эдакое?

И тут она внезапно почувствовала сердцем, что уже нет и никогда не будет того Егора, которого она ждала все эти долгие годы. Да и был ли он когда-нибудь таким, каким Дашура представляла его в своем воображении? В пяти-семи шагах от них спал его сын Толик, о котором Егор ничего не знает, да и знать, должно быть, не желает.

И опять из глаз Дашуры брызнули слезы. И она, наверно, раздыдалась бы, но в это время из «гостиной» выпорхнула Астра.

— Гадаю: куда пропал мой обольстительный незнакомец? — закричала пьяная девица.— А он... ха-ха-ха! Непорочную Дашуру пытается совратить.

Астра бесцеремонно обняла Егора за отрочески тонкую, побурелую от загара шею, припала к его щеке своей щекой.

— Пойдем пропивать, глазастое чудо, нашу любовь! Пойдем!

— Ты, Даш, не серчай... мы с тобой завтра потолкуем. Авось я здесь еще якорь брошу. Хотя и говорят, что шар земной велик, а места под солнцем ~~на~~ нем не так уж много осталось.— И Егор, не говоря больше ни слова, покорно поплелся в «гостиную» в обнимку с девицей.

А Дашура, влетев в свою комнату, упала вниз лицом на кровать, рядом с мирно посапывающим Толиком, даже во сне не выпускавшим из рук потешной обезьянки — игрушки инвалида.

Так велико было Дашурино горе, что она даже не рыдала. В ней все как бы онемело. И ей казалось, что с минуты на минуту у нее разорвется на части сердце.

Глава восьмая

Очнувшись перед рассветом от замогильного оцепенения, Дашура спросила себя, поворачиваясь на бок: «Кто, ну кто из них бессовестно врал: тихоня Нюся, наставница детей, или он, Егор, такой жалкий, весь извертевшийся, и все еще... и все еще... любимый?»

А потом она снова впала в ознобное забытие. Разбудил Дашуру не то гулкий, хлеставший по окну ливень, не то ветер, бухавший соскользнувшим с крючка ставнем.

«Неужели сызнава закуролесила непогода?» — подумала Дашура. А приподняв голову, увидела в рябом от дождя окне Федота, дубасившего по раме кулаком. На фоне чумазого серенького неба бороденка деда казалась молочно-кисельной.

— Выйди на час, Дашура! — орал Федот. — Давай, давай... случай такой вышел.

Опустив на пол одеревеневшие ноги, налившиеся свинцовой тяжестью, Дашура не сразу встала, не сразу сделала и первый шаг.

«Ну, чего ему, старому, приспичило ни свет, ни заря?» — посетовала Дашура на Федота, идя в сени.

Когда же она распахнула не запертую на ночь дверь, то увидела сидевшую на чурбаке молодую губастую девочку в дубленой шубе нараспашку. Голова ее была безжизненно откинута назад. Голову девушки бережно придерживал руками стоявший позади парень, перепуганный насмерть, — бледный, остроскулый, с редкими черными усиками.

— Помогай, Дашура, беде! — махая руками, зычно кричал, задыхаясь, Федот. — Они с того берега из поселка... чуть не потопли, окаянные души! Я их на своей бударке из затора вызволил. А молодку... того самое... родить приспичило, прости господи!

Вокруг было тихо. Собирался дождь. В мягкой сырости

вяло наступающего утра, напоенного и солоноватым дыханием моряцы и отволглым запахом оттаивающей земли, Федотовы беспорядочные выкрики, думалось, разносились по всей Осетровке.

Дашура еще раз как-то безучастно глянула в измученное жуткими страданиями лицо будущей матери. И, окончательно приходя в себя, сказала:

— Давайте ее в дом... на койку положим.

Вдвоем с нерасторопным парнем они кое-как дотащили тяжелую, огрузневшую роженицу до женской комнаты.

Вытирая ладонью пот со лба, Дашура проговорила шепотом, не глядя на парня:

— Лети на медпункт за фельдшерицей. А я пойду титан растоплю. Тут без горячей воды не обойдешься... Ну, чего столбом стоишь?

После этих ее слов коренастого парня в тяжелых резиновых сапогах как ветром выдуло из комнаты.

Поправив в головах забывшейся женщины подушку, Дашура на цыпочках тоже направилась к выходу, даже не глянув на стоящую у окна койку Астры.

— Федот Анисимыч, принесите-ка, пожалуйста, кизячков из сарая, — попросила Дашура топтавшегося в прихожей деда.

— Это мы можем... это мы единым часом! — засуетился дед, нахлобучивая на голову свой рваный собачий треух.

Дашура возилась на кухне, когда в прихожей по-бабьи завопил Бронислав Вадимыч:

— Огра-абили! Ай-яй-яй... Дашура, меня огра-абили-и!

Он был в исподнем белье, босиком. Остановившись в дверях кухни и покачивая из стороны в сторону зажатой между руками головой, снова запричитал:

— Деньги... во-восемьдесят... ой-ой-ой... во-восемьдесят четы-ыре рублика... тюремщик, каторжник этот...

— Ну, чего вы мелете всякое с пьяных глаз? — негодуя, не сдерживая себя, крикнула Дашура. За все годы работы в Осетровском доме для приезжих у нее не было никаких недоразумений, никаких происшествий. И вот вам — нате!.. — Где у вас были деньги? — возмущенно спросила Дашура.

— В головах... под подушкой. Я... я помню: ложился и под подушку их. А сейчас хватать, а денег нет. Ни денег, ни тюремщика вчерашнего. — Бронислав Вадимыч икнул и, чертыхаясь, потребовал: — Вызывай милицию! Милицию сюда!

— Дайте пройти,— Дашура оттолкнула с дороги тучного детину, от которого за километр несло сивушным перегаром, и побежала в «гостиную», а из нее вихрем влетела в «мужичью» комнату.

На табурете сидел, обуваясь, заспанный Михаил Капитоныч. Егора в комнате не было.

— Сдается мне, Андревна, в историю мы влипли,— сказал, морщась, Михаил Капитоныч.— Вчера они пили, скоты, вместе, а поутру... один сбежал, а второй старухой вопит.

Не говоря ни слова, Дашура метнулась обратно в «гостиную», а из нее во вторую комнату, куда полчаса назад была положена беременная молодайка.

Роженица лежала с закрытыми глазами, дыша тяжело, всей грудью. Койка Астры, как и койка Егора, пустовала. Не было ни саквояжа у тумбочки, ни кроваво-алой нейлоновой шубы на вешалке у двери.

«Она... это она, змея, стибрила деньги у Бронислава. Она и Егора сманила, подлая! — Дашура закрыла ладонями лицо.— Боже мой, ну за что на меня такие напасти? В чем... в чем я провинилась перед людьми?.. И что мне теперь делать? Бежать за сержантом милиции? Их ведь в два счета сцапают. Эта стерва Астра отвертится, она опытная, она на Егора все свалит. И запичужат молодца, уж не на год, а на все пять, а то и больше».

Вдруг на что-то решившись, Дашура прошла в свою комнатку. Толик еще спал, зарывшись с головой в одеяло.

Дашура так осторожно выдвинула из-под кровати небольшой оранжевый сундучок, никогда не запиравшийся на замок, что не заклохтала даже наседка, сидевшая на яйцах в плетушке. Под всяким обветшалым тряпьем, на самом дне сундучка, в муравчатой штапельной косынке хранились Дашурины сбережения, накопленные за эти годы,— девяносто восемь целковых.

Летом Дашура собиралась на денек поехать в Астрахань. Они с Толиком совсем обносились: надо было купить кое-что из белья. Мечтала Дашура справить себе и сынару по пальто — ну, хотя бы дешевенькие, но прочные.

Она достала из сундука заветный сверточек. Развязала зубами один тугой узел, потом другой. И, отсчитав нужную сумму, направилась на кухню.

— Вот ваши деньги,— спокойно сказала Дашура Брониславу Вадимычу, отворачивая от него лицо, и положила

смятые бумажки на холодную плиту.— Напились вчерась и память потеряли... Зашла перед сном в комнату к вам свет выключить, а они на полу, у кровати валяются. Ну, и убрала для сохранности... А вы уж сразу на людей грешить!

Заглянул на кухню Михаил Капитоныч, уже снарядившийся в дорогу. Кривя губы в презрительной и брезгливой усмешке, он проворчал:

— Я его урезонивал: ну, чего булгачишь недурехой? Ну, чего паникуешь раньше времени? А он... на таких типов глаза бы не смотрели!

Попрощавшись с Дашурой за руку, Михаил Капитоныч заковылял к выходу, опираясь на свою крепкую вязовую палку. Чуть погодя молча вышел из кухни, забрав с плиты деньги, и Бронислав Вадимыч.

А Дашура, оставшись одна, тихо заплакала. Нет, нет, не о скудных сбережениях, накопленных с таким трудом, плакала Дашура. Она оплакивала свою девичью пору, так напрасно, походя, загубленную.

Но и поплакать вволю не было у Дашуры времени. Остроскулый парень с редкими усиками, видимо, муж роженицы, бежал уже по двору наперегонки с шустрой фельдшерицей Марией Константиновной. И Дашуре тоже надо было спешить в комнату роженицы. Без ее помощи там не обойдутся.

Вытирая лицо посудной утиркой, попавшейся под руку, она уже думала о незнакомой губастой молодой из калмыцкого поселка с того берега, желая ей благополучных родов. Пусть и матери, и малышу — кто бы ни родился — мальчик или девочка, сопутствуют всю жизнь счастье и радости мира.

Дашура никому не желала своей с Толиком горькой сиротской судьбы — ни одной девушке, ни одной женщине.

РАССКАЗЫ

•



СМЕРТЬ ДЕДА ПРОКОФИЯ

Домик с голубыми наличниками стоял в саду. Со всех сторон его окружали яблоньки, вишенник, кусты смородины. Крупная, ноздреватая зрела на грядках клубника.

Июнь выдался на диво хорош: бешеные огневые грозы чередовались с тихими, улыбчивыми днями, после шумных ливневых дождей-скоропадов наступал паркий расслабляющий зной.

И в конце месяца уж по детскому кулачку висели на ветках яблонь тугие плоды, а клубнику приходилось обирать по два раза в день.

Но все это уже мало радовало колхозного кузнеца деда Прокофия, пластом лежавшего на кровати в переднем углу горенки.

В раскрытые настежь окна лезли ветви буйно разросшегося вишенника с алыми бусинами, но старик не видел их: сам он не мог поднять и головы. Редко брал дед с тарелки высохшими скрюченными пальцами и сочную крупную клубнику, пахнущую прохладой росных грядок.

Зато всех, кто приходил навестить его, дед Прокофий усиленно потчевал:

— А ты, кума, покушай, покушай-ка клубнички. У меня ведь редкостный сорт.

На миг он замолкал, переводя дух, и звал из кухни жену — маленькую, полную, легкую на ноги старуху:

— Матреша, а Матреша! Принеси-ка куме клубнички.

Нарви прямо с грядки, да смотри — покрупнее которая!

А потом вздыхал, разглаживал лиловеющей рукой жидкую, клипышком, бороденку, какую-то странную, совсем как бы выцветшую за последний месяц борения жизни со смертью. Вздыхал, смотрел в сучкастый потолок глубоко запавшими глазами — все еще поразительно теплой голубизны, и говорил:

— Я уж, кума, наказал: и вишенник чтобы у крыльца привязали к дубовым кольям, а то понесут гроб-то со мной и ломают ненароком ветки.

Дородная, краснощекая кума, еле уместившаяся на скрипучем стуле, из приличия перебивала старика:

— И на кой ты, Прокофий Митрич, в голову себе вбил эдакое?.. Вот выхворался весь, теперь на поправку пойдешь. Сам еще и вишену, и яблоки собирать будешь. А по осени наливочкой смородиновой куму угостишь!

Дед облизывал синюшные губы. Опять вздыхал.

— Оставь, пустое это, — говорил он без сожаления. — Чую: конец мой не за горами. Потому-то Матрене и норовлю втолковать... чтобы неувязки какой не проистекло. Ложек деревянных наказал полсотню купить: пусть не скупится, всех добрых людей накормит, которые пожелают деда Прокофия помянуть. Сосед Ларионыч стол починил и гроб смастерит. Упреждал: просторный, баю, Ларионыч, гроб-то делай. А другому дружку, Донату, рыбы наказал наловить к поминкам. Уж больно любил я раньше ущицу из свежей рыбки.

В горницу вкатывалась кубышкой запыхавшаяся Матрена с тарелкой щекастой, как на подбор, клубники, и обессиленный от разговора старик замолкал. Лишь рукой показывал дородной куме на тарелку: ешь, мол, без стеснения, в свое удовольствие!

Особо же трогательную любовь питал дед Прокофий к внуку Ванятке, жившему в большом заводском городе. Еще ранней зимой, когда деду занеможилось и он слег в постель, вот еще тогда принялся он донимать внука короткими корявыми своими писульками: «Бери по весне, Ванятка, отпуск и приезжай: оплошал я вконец. Не хочу, не взглянув на тебя, помирать».

Длиннущему, белобрысому Ванятке уж перевалило за двадцать. Прошлым летом парень женился, на заводе считался не последним слесарем, но в представлении Прокофия он оставался все тем же картавым толстощеким карапузом, с которым, бывало, подолгу играл в лошадки.

Ванятка приехал с женой Верочкой в конце июня. Всего полгода не видел он деда, но, взглянув сейчас на беспомощно распластавшегося среди пуховых подушек старика, весь помучнел и навзрыд зарыдал. Заплакал точь-в-точь, как в детстве, в ту счастливую пору, когда дед Прокофий, души в нем не чаявший, часами возился с внуком.

— А ты не плачь, пошто ты? — укоризненно прошептал старик, и у самого из глаз выкатилось по скупой горькой слезине.

Ванятка поселился с Верочкой, стеснительной, прыщеватой молодкой, у тетки — племянницы бабки Матрены, жившей в конце села на опушке леса.

Каждый день утром и вечером они навещали деда Прокофия. Но сидели возле него обычно не подолгу: поутру их тянуло то на раздольную солнечную Волгу, то в чащу соснового звонкого бора, а вечерами в кино и на танцевальную площадку.

И дед все понимал. Окинув внука жадным взглядом, он говорил — совсем тихо, еле шевеля непослушными губами:

— А вы, робята, клубничку-то, клубничку ешьте без стеснения. — А потом, переводя взгляд на жену, добавлял: — Ты им, Матрена, на варенье набери. Пусть наварят себе ведерко. В городу-то такой клубнички не сыщешь.

Дед таял день ото дня. Уж все соседи знали: не жилец Прокофий на белом свете, близок его час. Лишь белобрысый Ванятка, чуть посмуглевший на добром солнце, да стеснительная, полнеющая Верочка ничего не замечали. Им казалось, дед протянет еще весь их отпуск, а может и дольше, и как бы не пришлось потом снова приезжать из города на его похороны.

И однажды утром Ванятка с Верочкой не пошли к деду, а отправились сразу на Волгу. Они в этот день собирались сплавать на лодке в Жигули. Вернулись с той стороны под вечер: голодные, до красноты обгоревшие, но счастливые.

Только вошли во двор к тетке, а та навстречу им с причитаниями:

— Бегите к деду... умирает наш Пронюшка! Тебя, Ванятка, сколько раз звал... И где вы, окаянные, пропадали?

Опрометью бросился Ванятка к дедову домику с голубыми наличниками. Огрузневшая Верочка еле за ним

поспевала. Порог горенки переступили неслышно — оба такие тихие, без вины виноватые.

Дед тяжело, надрывно дышал всей ребристой грудью, разметавшись на койке в томительной, предсмертной тоске: одна костлявая рука закинута за голову, другая теребила подол длинной посконной рубахи.

— Пронюшка, светик, прискакал твой Ванятка, — сказала, обливаясь слезами, бабка Матрена, сидя на кровати в ногах у старика.

Дед с трудом приподнял белые бескровные веки, отыскал взглядом Ванятку. Оловянные глаза его вдруг на миг налились прежней небесной голубизной.

— Мы, деда, в Жигулях были, — протянул невнятно Ванятка, опуская глаза: он не мог выдержать этого пронзительного взгляда.

Пальцем поманил дед бабку Матрену. Прошептал:

— Пусть идут обедать... чай, изголодались за Волгой-то. А я подожду.

Ванятка и Верочка, взявшись за руки, направились к выходу, задевая плечами косяки. Спустились, спотыкаясь, как слепые, с крыльца, отворили без скрипа калитку. И тут на крыльцо выбежала бабка Матрена, вытирая концом ситцевого платка красные, исплаканные глаза.

— Погодите, я в погреб молоньей спущусь. Дед-то вспомнил: у Ванятки, слышь, варенья не полное ведро получилось. Пусть, говорит, доварят.

Из погреба старуха подала Верочке большую миску с холодной клубникой. Ванятка снова взял жену за руку, и они поплелись к тетке обедать. Но чем дальше они удалялись от дедова дома, тем шире становился их шаг. Им и на самом деле нестерпимо хотелось есть.

Но едва Ванятка и Верочка с жадностью принялись хлебать горячие, наваристые щи, как примчался от бабки Матрены посыльный — запыхавшийся чернявый малец.

— Эй, вы! — прокричал он весело с порога. — Бабка велела сказать: там Прокофий ее помер!



СИРОТА

Этого нескладного угрюмого человека с косо висевшим за спиной ружьем я повстречал в глухом, продымленном дождем ельнике.

Еще полчаса назад меня начали мучить сомнения: «А не сбился ли ты, горе-следопыт, с дороги?» Не мудрено было сбиться с капризной тропы, то сбегавшей в сырую ложбинку — царство чахлых осин, то вползающей на крутой взлобок с грустными в это утро березами, а то и совсем таинственно, на глазах пропадавшей в невысокой, но густой траве.

И мне следовало бы порадоваться, когда неожиданно-негаданно лицом к лицу столкнулся я в незнакомом лесу с живым человеком. Но я не испытал радости.

Нескладный детина в кожаном картузе — блестяще-черном, словно лакированном, чуть ли не на кустистые брови надвинутым, буравил меня колючим взглядом. Он монументом возвышался над молоденькой елкой со сломанной мутовкой, и узкая тропа, юркнув между его расставленных ног в резиновых сапогах, тоже влажно-черных, лакированных, с приставшими травинками-ниточками, убегала торопливо прочь, как бы чего-то испугавшись.

— Здравствуйте! — сказал я устало. И прежде чем спросить: «До Угарева еще далеко?» — подумал: «Чего этот тип воззрился на меня, как на преступника?»

Даже не ответив кивком на мое приветствие, человек

презрительно — или мне так показалось? — процедил сквозь зубы:

— Тоже, елки-палки, турист?

Я махнул рукой:

— Какой там турист... По командировкам маюсь. Из Лебедей в Угарево путь держу. Надо бы трактором, а я напрямик. А местность незнакомая — впервые в ваших краях.

Вздохнув, я спросил:

— А вы здешний лесник?.. И зуб на туристов имеете?

— Иные теперешние туристы злее Чингис-хана... ни жалости, ни пощады в сердце не держат. Под выходной на Кабаньей поляне несколько березок спалили. А у Выселок, опять же, над сосенками расправу учинили. Или вот — полюбуйтесь: за что погубили елку? Кому помешала?

Детина все с тем же недоверием покосился на мой обмякший рюкзак.

— Говорите, в Угарево? Нам, елки-палки, немного по пути. Только вы, прямо скажу, маху дали. У солонцов — не заметили в том перелеске у ручья колоды с солью для лосей?.. У солонцов и надо было влево податься. И уж теперь бы чаек распивали на квартире. У кого в Угареве остановились? У партийного секретаря али у самого директора?

Дождишко, недавно переставший моросить, зачастил снова. Только теперь, подгоняемый промозглым ветром, он больно сек по лицу, точно колот острыми иголками. Стоять под дождем охоты не было. К тому же в ботинках у меня хлюпало, промокла и куртка из водоотталкивающей ткани. Хотелось дотопать поскорее до жилья, обогреться у русской печки — так непростительно нами забываемой, но лесник вроде бы и не собирался трогаться с места.

— Если вы тоже в сторону Угарева, тогда пошли, — проговорил я нетерпеливо. — Куда теперь нам: влево, вправо?

Еще раз оглядев меня с головы до ног, лесник хмыкнул. И совсем уж на брови надвинул картуз.

— Для эдакой мокрети одежка и обувь ваши несоответствующие, — сказал он осуждающе, сходя с тропы. — Проходите вперед... я дам знать, где сворачивать. Так у кого же вы квартируете в Угареве?

Бросил через плечо:

— Наталью Тихоновну знаете?

Ни слова в ответ. Лишь слышны тяжелые чавкающие шаги.

— Вдова Наталья Тихоновна, — продолжал я. — Новый домик под шифером напротив сельмага. У нее Ивашка...

Не успел договорить, как лесник прогудел:

— Теперь догадываюсь! Елки-палки, да вы же у Котягиной... ее сына-космонавта вся округа знает!

Я проворно обернулся.

— Разве у Натальи Тихоновны еще есть сын?

Угрюмого лесника теперь нельзя было узнать. Словно вместо него на меня смотрел другой человек.

— А разве вы не слышали?

Вытирая кулаком потеплевшие, в мелких веселых слезинках глаза, он пояснил:

— Котягиной пострел что этой зимой сотворил? Все село, елки-палки, взбулгачил! В один прекрасный день в Угареве ребятня прямо-таки перебесилась. «Космонавт у нас объявился, космонавт!» — кричали мальчишки. И со всех ног неслись к избе Котягиной. «Какой космонавт? Где космонавт?» — спрашивали любопытные. — Лесник опять потер кулаком глаза. — А дело было так: припозднилась на ферме Котягина, а обед поутру не успела приготовить. Вернулся из школы Ивашка и давай во все горшки-чугунки нос свой совать. Проголодался, знакомое дело! В одном чугуне на пареную тыкву наткнулся. С вечера малость какая-то осталась. Пальцами Ивашка соскреб со дна что мог, а потом решил языком вылизать. Просунул голову в чугунок, а уж вытащить — никак. Перепугался. Выбрался на крыльцо оцупью и давай руками махать. А соседская девчонка — глупенькая еще, детсадовского возраста, за космонавта Ивашку приняла. Руками тоже машет и орет: «Космонавт к нам прилетел, космонавт!»

Вдруг лесник осекся на полуслове. И тронул меня за плечо рукой: мол, тоже помолчи.

Мы стояли на продолговатой полянке, упирающейся острым, изумрудным на диво клином в древнюю ель. Мне невольно подумалось: «Уж не современница ли сказочного Ильи Муромца эта ель?»

Переменчивый июньский дождичек так же внезапно иссяк, как и начался. Улетучился и промозглый ветер. Лишь изредка тяжелые капли, срываясь с веток, шуршали по сочной траве.

Я уж собрался было спросить: «В чем дело?», но как раз в этот миг заволновались заросли кустарника по ту

сторону поляны, и прямо на нас вышел маленький лосенок.

Увидев людей, лосенок остановился. Тонкие ноги его дрожали, подкашивались.

— Знобит малого,— прошептал лесник, осторожно оглядываясь.— Одно слово — новорожденный... Но где у него мать?

Пискляво, по-щенячьи жалобно заскулив, лосенок заковылял в нашу сторону.

Снова настороженно огляделся лесник.

— Не видно матери,— вздохнул он.— Глупый, осиротел, что ли?— Помолчав, он все так же тихо добавил:— Давайте трогаться полегоньку. С лосихами, елки-палки, шутки плохи.

Миновав полянку, мы свернули влево и немного погодя совсем для меня неожиданно вышли на просеку.

Я люблю просеки — светлые лесные улицы. Они всегда возникают перед взором неожиданно: бредешь, бредешь знойным полднем по лесу, и вдруг перед тобой открывается широкая прогалина — вся насквозь пронизанная солнцем и запахами горячей хвои.

Сейчас, правда, было прохладно и пасмурно, и все же просека купалась в мягком зеленовато-опаловом свете. Сильно пахло мокрым горьковатым полынком.

— Давайте-ка передых устроим,— сказал лесник.

Он стоял с непокрытой головой, вытирая с лица испарину. И был он, оказывается, совсем молодым, большелобым, чуть-чуть рыжеватым. Лишь брови — густые, кустистые, черные, до странности не шли ему.

Долговязый лосенок, всю дорогу неотступно ковылявший за нами по пятам, тоже остановился. Светлые его бока с коричневыми подпалинами совсем ввалились. Малыш, видно, сильно ослаб: он уж давно перестал скулить.

Вертя в руках гремюще-жесткий картуз, лесник задумчиво протянул:

— Придется телка на кордон брать. У меня матушка козу с козлятами держит... да вот беда: не допрыгает он до кордона, хоть и недалече тут... Эх, ты, будущий великан!

Красные обветренные губы лесника тронула улыбка — поразительно застенчивая и добрая, как-то не приставшая к этому нескладному человеку, час назад показавшемуся мне не в меру подозрительным и угрюмым.

— Вы меня проводите? — помолчав, спросил лесник. — Я бы и один, да ружье вот, елки-палки...

— Пожалуйста, — согласился я, все еще не понимая, зачем ему нужен сопровождающий.

— У нас и обогреетесь, — говорил он, снимая с плеча ружье с нацеленными в землю воронеными стволами. — Незаряженное оно. Да все равно вниз стволами сподручнее.

Принимая от лесника двустволку, я сказал шутливо:

— Ох, и грозный же у вас видик был... когда я на вас наткнулся!

— Тиранят тут разные несознательные к природе элементы. Столько я с ними крови попортил.

Лесник шагнул к лосенку, выставив вперед руку — ладонью вверх. Тот весь задрожал, запрядал ушами, но с места не стронулся.

— Не бойся, глупышенька, не бойся, — так вот приговаривая, лесник не спеша приблизился к малышу. Ласково коснулся пальцами шоколадного ремешка на загривке лосенка, присел перед ним на корточки. А потом решительно и крепко взял лосенка за трясущиеся ноги, сунул ему под брюхо голову И, крикнув, встал.

— Подались! — хрипло бросил лесник.

Вскоре показался и кордон с немногочисленными постройками. Возле избы, громыхая цепью, надрывалась в яростном лае овчарка. Но стоило прикрикнуть на собаку появившейся из сеней женщине — такой же нескладной и высокой, как и сам лесник, и она приумолкла, завиляла куцым хвостом.

Войдя в огороженный жердями загон, лесник опустил на землю лосенка.

— Ты кого опять, непутевый, приволок? — спросила нестрога женщина.

— А разве не видишь, матушка? — жарко, с одышкой выговорил сын, поглаживая ладонью кумачовую, бычью свою шею. — Не то супостаты какие-то истребили у лосенка кормилицу, не то она околела... Телок сам вышел к нам из леса... Голоден он, да и продрог ко всему прочему.

Женщина радушно сказала:

— Ну, и тащи его в избу, Федюнька!

...Я сидел в переднем углу просторной избы, изнывающей от сухого — ей-ей летнего — зноя, блаженно вытянув ноги. И не спускал глаз с Марковны — матери лесника, хлопотавшей возле лосенка.

Вот она старательно обтерла малыша чистой влажной тряпицей, потом сняла с шестка кастрюлю с топленным молоком, приказав мимоходом сыну поискать соску в тумбочке под радиоприемником.

— Я их пять штук купила, — добавила хозяйка, повернувшись ко мне лицом — костистым, крепким, основательно почерневшим на весеннем солнышке, таком в лесах этих прилипчивым. Вздохнула и еще прибавила: — Нас с Федюнькой, гражданин хороший, несчастье претяжелое по осени придавило...

— Матушка, ну зачем ты? — глухо, с мольбой в голосе, протянул сын.

— А что тут зазорного, сынок? — продолжала Марковна, наливая в бутылку молока. — Горе... его не ждут, оно само шастает. — И опять глянула на меня большими печальными глазами. — Сношенька, красавица, во время родов скончалась.

Теплое козье молоко лосенок сосал жадно, не отрываясь, пока не прикончил всю бутылку. Тогда Марковна пошла к кухонному столу за новой порцией молока. А накормив лосенка досыта, уложила его, послушного, спать на мягкую дерюжку в углу у печки. Федор прикрыл лосенка старым полушубком.

Я собрался уходить, но Марковна наотрез отказалась меня отпускать.

— Руки проворненько ополосну и за ухват возьмусь, — приговаривала она, шустро бегая по избе. — Я ведь мигом на стол соберу. Истинный бог, мигом!

— Не-е, вы не спешите! — сказал и Федор. — Подкрепитесь сначала, а уж потом и того... и в путь можно собираться. Он, организм-то, пищей прочищается. На пищу и фундамент у человека держится!

Кордон я покидал под вечер, пообещав добрым его обитателям заглянуть к ним еще разок. Перед тем как расстаться с хлебосольными хозяевами, я не удержался и, нагнувшись над лосенком, легонько потрепал его за курчавую шерстку между ушами. Телок спал крепко, даже не вскинул головы.

Через неделю я отправился на кордон вместе с конопатым «космонавтом» Ивашкой — моей квартирной хозяйки сыном.

Скрытный этот Ивашка-«космонавт» — так мне и не рассказал о своем приключении. Зато соседская девочка — ласковая улыбчивая Лида — со всеми подробностями опи-

сала Ивашкину «историю»: и как сбегался народ, и как ревущего Ивашку с чугунищем на голове отправили на совхозной «Волге» в заводские мастерские в Затонное — ближайший от Угарева город.

День выдался по-настоящему летний. Неподвижный, как бы застоявшийся, воздух, казалось, можно было черпать половником — таким он казался густым от лесных ароматов. Над истомившимися от жары полянками водили хороводы бабочки, а где-то в недалекой и звонкой дали неистово куковала кукушка.

Я шел не спеша, мысленно уже прощаясь с расчудесным этим краем. Пострел Ивашка ошалело носился с поляны на полянку, все безуспешно пытаясь накрыть кепкой бабочку.

Мы были неподалеку от кордона — из-за могучих елей, окружавших избу лесника, слышалось тьяканье бдительной овчарки, когда вдруг на дороге показалась высокая женщина в черном. Лишь голову ее покрывал белый платок с упругими, отливающими синевой складками.

— Марковна! — сказал я, едва глянув на женщину в черном. — Здравствуйте! А я вот к вам...

Мать лесника остановилась. Посмотрела на меня из-под ладони. А потом закачала головой, замахала длиннущими руками — точно птица крыльями.

— Экая же досада! И что бы вам вчера заявиться? Федюнька-то мой уехал... ай, яй-яй! Такая, право слово, досада!

Уселись на зеленый холмик под березой. И Марковна, державшая путь в соседнюю деревню на могилу снохи, принялась охотно рассказывать про беспризорного лосенка, прозванного хозяевами кордона Михрютой.

— Хотите верьте, хотите нет... на третий уж денек повеселел наш Михрюта. И мы его в загон. Подружился он тут с козлятами. Хотите верьте, хотите нет — ни на шаг друг от дружки! Бегают, бесенята, взлягошки, брыкаются... веселое загляденье, да и нате же вам! — Марковна подняла из-под ног сорванный Ивашкой «жарок» и, глянув на горевшую угольком голову цветка-цветика, затаенно вздохнула. — Я так рада была за Федюньку... вернется с обхода и как есть до темноты от загона не отходит. Вроде бы и с горем своим на время разлучился. Знали б вы, как он, сердечный, убивался, когда скончалась наша Сашенька. Боюсь: отвезет Михрюту в зверячий сад и тоска-злодейка сызнова в него вцепится.

Вздыхая — теперь уж открыто, не таясь, мать лесника прижала к задрожавшим губам нежный «жарок».

Я отвернулся, окликнул мальчика:

— Эй, Ивашка, где ты?

— А я тут! — тотчас откликнулся пострел. Минутой позже Ивашка вынырнул из-за куста боярышника с охапкой цветов, слепящих глаза своей весенней пестротой. — Мы куда теперь: до дому аль на кордон?

— На кордоне теперь нечего делать — лосенка в зоопарк повезли, — сказал я. — Пойдем-ка обратно в Угарево.

Марковна проводила нас до мостика через овраг. Тут и попрощались. Мать лесника свернула на суглинистую тропку, кровавым следом тянувшуюся по бровке оврага, а мы с Ивашкой пошли прямо.



В ЛЕСУ

Проснулся утром, а вставать не хочется.

«Серо-то как... рано еще, похоже», — подумал, глядя в большое — в полстены — окно веранды. А наклонился над тикающими на тумбочке часами и удивился. Оказывается, уже семь. Тогда, проворно встав, подошел к окну. И снова подивился.

Такого туманного утра еще не было в это лето. Даже рыжевато-брусничный конек соседней дачки еле угадывался в смутной — молочно-седой — дымке. Зубчатые же вершины ближнего леса совсем растаяли в плотной туманной сырости, будто его никогда и не было на свете.

А ведь вчера выдался такой погожий солнечный денек, такой денек! Даже не верилось, что в конце августа могут перепадать эдакие знойные денечки. И вот нате вам: после расчудесного дня — сырое, пасмурное утро. Ночью, по всему видно, прогулялся по земле тихий грибной дождичек.

— За грибами пойдем? — спросила жена.

— Какие сейчас грибы! — отмахнулся я. — Все грибы, наверно, собрали нележебоки.

Но после завтрака все же потянуло в лес. Не за грибами, нет, а просто так — прогуляться.

И не пожалел, что пошел.

Тихо, тепло. Теплынь душная, влажная. Лес стоял тоже тихий, в тихой грустноватой задумчивости. Туманец

медленно отступал, уползая в ложки и овражки. Синь-синяя, вся в росе, трава кое-где была запятнана желтоватыми брызгами. То безвольные березы и осины покорно, раньше срока, стали ронять свою листву.

Дремотно-первобытную тишину нарушал лишь робкий шелест ночных дождинок. Сорвется капля с макушки дерева и, падая, шлепнется на протянутую к ней навстречу мохнатую еловую лапу. И тотчас обрушится на землю сотня дождинок, бисеринами дрожащих на мокрой ветке. А если в этот миг еще дохнет слегка ветерок, неизвестно откуда нагрянув, то вас с головы до пят окропит холодным душем!

Иные опавшие листики — поразительно красивы. И я подбирал их и осторожно клал между страницами блокнота.

Не слишком далеко еще ушел я от опушки, когда из глубины леса до меня донеслось отрывистое посвистывание. Прислушался. Нет, это не лесная птица заливается, а, должно быть, кто-то из счастливых грибников свистит, возвращаясь домой с тяжелой корзиной.

Иду навстречу веселому свистуну. Уже слышны шаги. А немного погодя из-за поворота показывается долговязый юнец в замысловатой шляпе, сдвинутой набекрень. На нем, безусом, все с претензией на «шик»: и пестрая, на «молниях», куртка, и узкие брючки с многочисленными сверкающими бляхами. Помню, когда-то давно, в детстве, отец мой, искусный шорник, чуть не такими вот бляхами украшал лошадиную сбрую... Как-то ей-ей нелепо видеть среди русских берез эдакого опереточного молодца!

Через левое плечо у парня перекинута сумка с яркими заплатами-наклейками, а в правой руке увесистая палка. Этой палкой он то ударит по стволу осины, то сшибет головку глазастой ромашки. Вот выбежала на тропку ершистая елочка, и свистун, не задумываясь, замахивается палкой.

— Стой! Что ты делаешь? — кричу, прибавляя шаг.

Юнец останавливается как вкопанный. Он даже палку не сразу опускает. В упор смотрит на меня недоумевающе-нагловатыми, навывкате, глазами.

— Вам что, жалко? — тянет он сквозь зубы. — Их вон тут... пропасть целая!

— Елка тебе помешала? — вопросом на вопрос отвечаю парню. — Неужто помешала?

Тот пожимает острыми плечами.

— А чего она тут... на дороге стоит!

Хочется обругать сопляка, вырвать из его безжалостной лапы палку. Сдерживаюсь. И, поспешно проходя мимо, говорю:

— Нехорошо, молодой человек! Надо любить природу!

Верхняя губа «молодого человека», лишь слегка тронутая грязно-ржавым пушком, топорщится в презрительной усмешке.

Настроение испорчено. Повернуть бы назад, что ли, но я скрепя сердце все же шагаю и шагаю дальше.

Чу, снова какой-то шум впереди. Различаю голоса. Вот это уж, наверно, шлепают настоящие грибники. И правда, скоро на открывшейся предо мной серебристо-малахитовой полянке показываются ребята с корзинками. Девчурка лет десяти и трое мальчишек. Самому старшему из них не больше пятнадцати.

— И много грибов насобирали, пострелы?— еще издали спрашиваю ватажку.

— Ага, много!— кричит розовощекая девчонка.— У меня, дядя, больше всех!

И она охотно показывает свою корзиночку. Ее приятели сдержанно усмеваются. Лишь один — белокурый крепыш с приятным открытым лицом — сдержанно замечает:

— Опять наша Татьяна заливает.

— Рано встали?— продолжаю расспрашивать ребят.

— Ужась как рано... часов в пять,— снова первой откликается Татьяна, поблескивая влажно-черными, жуково-черными глазищами.— А я, знаете ли, кроме разных там чернушек и масляток, три белых сцапала! Так мне повезло!

— Ну, что ты мелешь, глупая?— уже не сдерживается другой парнишка, похоже, брат, девчурки: носатый, с куститыми бровями-дугами. Его мокрые резиновые сапоги кажутся густо смазанными дегтем.— И никакие они не белые! А самые настоящие подосиновики! Факт! Тыщу раз тебе твердили!

Но Татьяна не сдается:

— Это мы еще поспорим!

Говорю:

— Довольны прогулкой?

— Спрашиваете!— дружно отвечают мальчишки.— Столько грибов насобирали!

— А кроме грибов... для души чего-нибудь нашли?

Все четверо смотрят на меня с недоумением,

— Гляньте по сторонам,— поводя вокруг рукой, продолжаю я.— На березах, замечаете, золотые монетки появились. А вон елочка... ну, разве не красавица? Какими бусами себя разукрасила! Ждет, когда похвалите.

Тут к моим ногам, не спеша кружась, опускается большой лапчатый лист. Поднимаю его, кладу на ладонь. Жарким багрянцем опален кленовый лист.

— Пригож, правда?— киваю ребятам.— Ни один художник не нарисовал бы так. А вот природа, она все может!

Умные, смышленные мордочки ребят как-то вдруг тускнеют. Они стесненно переглядываются между собой, а самый старший — в берете — отрывисто говорит:

— Мы пошли... мы еще не жрамши!

И ребята чуть ли не рысцой убегают от меня, убегают, как от чумного. А я все еще держу на ладони багряный кленовый листик с тонкими прожилками-ниточками и смотрю им вслед — шустрым, выносливым.

Тузик-бутузик, тра-та-та-та!—

вдруг озорно выкрикивает беззаботная Татьяна, уже невидимая отсюда за березами. И, сразу оборвав свое «тра-та-та», насмешливо тянет:

— Ох, уж и странный дядька нам встренулся. Эге, Тарзаны? Как маленький, листики всякие собирает... Не иначе как тронутый!

Кто-то из подростков весело гогочет,

А мне не смешно,



ПЛОХАЯ ПОГОДА

Вадиму уже начинала казаться нелепой эта его поездка. В самом деле, ну что тут хорошего: сидеть одиноко в каюте и часами глазеть в окно на дыбящиеся за бортом парохода тяжелые свинцово-мутные волны? Не удивительно, что большая половина кают пустует. Едут только одни командировочные и те, кому не к спеху. Вадим вздыхал: разве так мечтал он провести свой первый отпуск?

Летом, конечно, приятно путешествовать по Волге, но сейчас, в октябре... Четвертый день попеременно то моросит нудный мелкий дождь (слышно, как, всхлипывая, бегут по крыше ручейки), то дует пронизывающий верховой ветер. В такую погоду нисколько не тянет на пустынную палубу с небрежно раскиданными по ней белыми скамейками.

Потирая ладонью лоб — голова у него разламывалась от боли, — Вадим отвернулся от окна. Вдруг он увидел свое отражение в никелированной лопасти настольного электрического вентилятора. На него смотрело вытянутое, точно побывавшее в тисках, его собственное лицо.

Кусая губы, Вадим дотянулся рукой до косяка двери и с такой силой пажал на кнопку электрического звонка, что палец хрустнул в суставе.

Немного погодя в каюту вошла дежурная тетя Феня — маленькая женщина в берете с блестящей кокардой, в черной шинели, плотно облегающей ее полное тело. На груди

шинель у нее не сходилась, и в разрез выглядывала красная фланелевая кофта с белыми горошинами, такими же круглыми, как и сама тетя Феня.

Вадим указал на массивный вентилятор, занимавший чуть ли не добрую половину столика, и попросил убрать его из каюты.

Дежурная поджала губы и не тронулась с места.

Вадиму вдруг захотелось провалиться сквозь землю. Ну, зачем, зачем он беспокоил эту женщину, относившуюся к нему и без того сдержанно и даже сурово? Не глядя на тетю Феню, он повторил просьбу.

— А я все распрекрасно поняла, не из глупых,— сожалея о напрасно потраченном времени, заговорила тетя Феня, искоса глядя в осунувшееся помятое лицо пассажира — совсем еще мальчишеское, виноватое.— Не вы первый, не вы последний... Один требует — убери, потому как в этом пропеллере теперь нет никакой необходимости, другой требует — убери, а я всем одно: «Не могу». Не могу,— помкапитана не разрешает. Вентилятор, говорит, есть предмет культурного обслуживания пассажиров. Кончится навигация, тогда и уберем. А пока, говорит, каждый предмет должен на своем месте...

Махнув рукой, Вадим поспешно отвернулся к окну. Он не слышал, как тетя Феня, уходя, прикрыла за собой дверь.

Все те же скучные однообразные волны неслись навстречу пароходу. Казалось, будто волнам не терпелось показать свою удаль: кто кого обгонит? Но как они ни старались, в упоении погони урча и брызгая пеной, у них ничего не получалось: ни одна волна не настигала другой.

Пароход шел вдоль тускло-желтых песков, все еще не просохших после вчерашнего ливня. За песчаной косой, сквозь дымчатую мглу непогожего дня, смутно проглядывали очертания лугового берега — такого же на удивление скучного, без единого деревца, как и эти пески.

Вадим насторожился. За окном слышались чьи-то быстрые шаги. Они раздавались ближе и ближе. Он привстал, облокотился о столик.

Перед окном легко и стремительно прошла девушка, придерживая рукой шляпу. Шла она навстречу ветру, и полы черного плаща мешали ей: они то путались в ногах, то разлетались по сторонам. Казалось, эта хрупкая, худенькая девушка ничего не боялась: ни ветра, ни простуды, в то время как другие пассажиры отсиживались в теплых каютах.

Вадим сорвал с вешалки пальто и, как всегда бывает, когда торопишься, долго не попадал руками в рукава. Наконец он надел его, метнулся к двери и замер на месте, будто наткнувшись на невидимое препятствие.

— Не пойду,— сказал он себе и тяжело привалился спиной к косяку...

Эта «таинственная незнакомка» — так Вадим прозвал девушку в черном плаще — села на пароход в Саратове три дня назад, под вечер. Ее провожала пожилая, в старомодном пальто, заплаканная женщина — не то мать, не то бабка. Старуха долго не отпускала от себя девушку, поводя по ее угловатому плечу рукой, а она все порывалась освободиться из объятий и преувеличенно громко смеялась.

«Недурна собой,— подумал Вадим, стоя на палубе.— Как бы с ней познакомиться?»

Но лишь пароход отвалил от пристани, как новая пассажирка отправилась в свою каюту и, к досаде Вадима, ни разу в этот вечер не вышла.

Наутро, едва Вадим проснулся, ему сразу вспомнилась девушка в черном плаще.

Чутко прислушиваясь к монотонному шуму дождя над головой, он подумал: «Интересно, какое у нее сейчас настроение? Или все еще спит?.. Нынче во что бы то ни стало надо завязать с ней дипломатические отношения».

А когда через полчаса, кое-как приневолив себя встать с постели, он подошел в измятых гармошкой трусах к окну и посмотрел заспанными глазами на палубу, как тотчас отпрянул и снова плюхнулся на койку. Девушка в черном плаще — такая легкая на помине! — стояла напротив его окна и глядела на рябую от дождя, чуть курившуюся парком, Волгу.

«Зачем она здесь стоит?» — спросил себя Вадим. В груди у него сладостно заныло, и ему захотелось взглянуть на нее еще. Но когда он, затаив дыхание, на цыпочках приблизился к окну и осторожненько посмотрел за шторку — ее уже не было.

Днем он увидел ее еще раз — в окне каюты... К чему только он все это перебирает в памяти?

Еще он видел, как она сидела у себя в каюте с раскрытой книгой на коленях, задумчиво глядя куда-то в одну точку. Вадим заметил, как у девушки шевелятся губы и она делает руками какие-то жесты, разговаривая с кем-то

невидимым... В самом деле — настоящая таинственная незнакомка!

Потом она опять вышла на балкон и, словно не замечая косо хлеставшего по палубе дождя, долго стояла у борта, глядя на проплывавшие мимо заштрихованные тонкими водяными черточками берега.

Что она находила во всем этом хорошего?.. Однажды Вадим, преодолевая смущение и робость, казалось, давно уже забытые им, решился подойти поближе к одиноко стоявшей девушке, но она тотчас удалилась, лишь только он стал приближаться к ней. За все эти три дня она ни разу не зашла в ресторан, где все пассажиры собирались за обедом, не сказала никому ни одного слова...

Закурив папиросу, Вадим шагнул к висевшему на стене зеркалу и, чуть сощурившись — у него это всегда получалось красиво, — стал вспоминать девчонок из механического техникума.

«Многие из них куда интереснее были, чем эта, — думал сердито Вадим, дымя папиросой. — Между прочим, в ней совершенно нет ничего такого... особенного. И зачем она только задается?»

Вадим смял окурок и бросил его на пол.

«А ну ее... — оборвал он себя, стараясь изо всей силы ожесточить свое сердце против пассажирки в черном плаще. — Вот возьму в обед и опять напьюсь с «профессором», как вчера... А чем же еще заниматься?»

Вдруг он поймал себя на мысли, что девушка в черном плаще, имени которой он даже не знал, но которая — странное дело — все чаще и чаще стала приходить ему на ум, может сойти на следующей пристани и он уже никогда, никогда ее не встретит... Не помня себя, Вадим схватил кепку и бросился вон из каюты, забыв даже запереть дверь. Он чуть ли не рысцой обежал весь балкон с носа до кормы, но девушки и след простыл.

В начале четвертого Вадим решил пообедать. В просторный ресторан, с высокими — от пола до потолка — окнами, он вошел, как ему казалось, уверенной походкой завсегдатая. Ухо сразу уловило тонкий перезвон хрустальных подвесок старой люстры, висевшей над большим круглым столом.

«Никого еще нет», — с облегчением подумал Вадим и тут же понял, что ошибся.

Слева в углу на кожаном диване расположился уютно, по-домашнему, грузный мужчина в золотых очках. Его ли-

цо с крупным грушевидным носом все замаслилось от улыбки при появлении Вадима.

— Часовых дел мастеру... грядущей эпохи! — крикнул он, кивая головой. — Прошу к моему шалашу!

Вадим поморщился и сел за стол напротив «профессора»: так прозвал этого человека геолог-нефтяник, любивший над всеми пошутить. Геолог уже давно сошел на какой-то маленькой пристани, а удачное прозвище, придуманное им, так и осталось за владельцем золотых очков. Кем был на самом деле «профессор» — никто как следует не знал. Говорили, будто он работает в каком-то тресте, название которого трудно было выговорить.

Вадим глянул на графинчик с прозрачной, словно ключевая водица, жидкостью, стоявший перед «профессором», и отвел в сторону взгляд.

«Профессор» молча наполнил водкой две рюмки, подвинул к Вадиму тарелку с колбасой, нарезанной тонкими, как пятаки, кругляшами.

— Вадим, а вы по-прежнему один? — сочувственно, вздыхая, спросил он юношу. — Что же это вы, батенька, упускаете такую возможность?

Вадим не нашелся, что ответить. Щеки его медленно порозовели, и на них отчетливее стал заметен нежный пушок.

— Бросьте огорчаться, может быть, еще не все потеряно! — «профессор» уперся животом в край стола и сложил перед собой руки. — Главное — быть настойчивым и не унывать. Никогда, ни при каких...

В ресторан кто-то входил, и он замолчал.

В дверях столпились молодые парни с обветренными, кирпично-бурыми от летнего загара лицами. Вероятно, это были новые пассажиры, недавно севшие на пароход.

— Где, ребята, пристроимся? — простуженным голосом спросил высокий плечистый парень в кожаной куртке.

Он вошел в ресторан первым, но, оглядевшись вокруг, вдруг оробел и теперь топтался на одном месте.

— Давайте за этот, за главный стол усядемся! — Из-за спины великана вышел костлявый, тщедушного вида, мужчина лет сорока, с лицом открытым и добрым, и решительно зашагал к большому, парадно накрытому столу.

Весело переговариваясь, парни двинулись вслед за своим вожаком, уже чувствуя себя здесь полноправными хозяевами.

Вадим поглядел на веселых ребят, громко обсуждав-

ших, что им заказать на обед, потом взял двумя пальцами свою рюмку и, помешкав, отставил ее в сторону.

У «профессора» от удивления надломились и полезли на лоб темные жгутики бровей.

— Что-то не хочется... Я после пообедаю, — сказал Вадим, не поднимая глаз на собеседника, и проворно встал.

Возвращаться в каюту не было никакого желания, и он побрел по коридору куда глаза глядят. В коридоре второго класса тетя Феня протирала суконкой дверные ручки, и, чтобы не встречаться с ней, Вадим свернул в сторону и прямо так — в костюме и с непокрытой головой — вышел на балкон.

Тем же медленным шагом он дошел до носа парохода, разглядывая палубу, местами облупившуюся от пшаклевки. Вдруг он споткнулся и замер на месте.

У самого борта стояла она. Девушка была в знакомом Вадиму плаще, но, как и он, без головного убора.

Надо было или пройти мимо, или вернуться назад, но у Вадима одеревенели ноги.

«Что она опять разглядывает?» — с волнением подумал он и посмотрел в ту сторону, куда глядела девушка.

И только сейчас он заметил наступившую в природе перемену.

Уже ничто не напоминало ни о свирепом, валившем с ног ветре, ни о зыбких пенных волнах, слегка качавших большой пароход. Можно было даже предположить, что затяжной, всем надоевшей плохой погоды никогда и не было.

Белесовато-серая муть неба расползалась, и в промоины с рваными краями засияла чистая, ясная голубизна. Думалось: хорошо, если бы проглянуло солнце — сколько дней о нем скучала земля! И оно на самом деле появилось, и появилось как-то сразу — такое большое, горячее, что Вадим даже на миг зажмурился.

Разрезая острым носом воду, по-осеннему загустевшую и маслянистую, пароход наискосок пересекал Волгу от лугового берега к правому, гористому. И чем ближе подходил он к беспорядочно разбросанным холмам правобережья, тем все чаще по воде проплывали опавшие листья березы, клена, орешника...

Вадим смотрел на синеющие горы с меловыми сверкающими плешинами, на тянувшиеся у их подножья деревья — багрянистые, желтые и кое-где еще зеленые,

кем-то нарочно брошенные в огненно-золотое негреющее пламя, и улыбался, сам не зная чему.

На всю жизнь останутся у него в памяти и эти горы, отраженные в задумчиво-притихшей Волге, и необыкновенные, по-детски любопытные огромные глаза девушки, и ее тонкий прямой нос, чуть задетый бледными веснушками, и тяжелая копна всклокоченных ветром волос.

Девушка почувствовала на себе взгляд Вадима, повернула к нему лицо, видимо, собираясь что-то спросить, но тотчас смутилась.

— Правда, хорошо?— немного погодя сказала она и снова, смутившись, отвернулась.

Некоторое время они оба молчали, не спуская глаз с приближающихся гор.

— Вон эт-то обрыв!— неожиданно сказал Вадим и прищелкнул языком.

— Катерина, наверное, здесь бросилась в Волгу,— задумчиво обронила девушка.

— Какая Катерина?

— У Островского.— Помолчав, девушка спросила:— А церквушку видите?.. Вон между холмами?

Вадим кивнул головой. Среди берез, словно выкованных из золота, стояла старенькая белая церковь с куполом-луковицей.

— В этой церквушке писатель Скиталец в хоре пел,— заговорила снова девушка.— Ради заработка, конечно, когда не на что жить было.

— Скиталец?— усомнился Вадим: он никогда не слышал, что был такой писатель.

— Да. Петров-Скиталец. Они с Горьким в молодости дружили. А раз, когда Алексей Максимович в Самаре жил, они взяли и отправились путешествовать по Жигулевской кругосветке.

— Вы откуда это знаете?

Девушка внимательно поглядела на Вадима.

— Читала,— сказала она и тут же добавила:— А здесь все-таки прохладно.

— Прохладно,— поспешно согласился Вадим.— Давайте я загорожу вас от берега?.. А вас как зовут, между прочим?

— Лизой.— Девушка засмеялась.— А вас как, между прочим?

Он тоже рассмеялся.

— А меня Вадимом.

Разговаривая, они обогнули корму, потом очутились в коридоре, тянувшемся через весь верхний этаж, прошли его из конца в конец и уперлись в стеклянную дверь ресторана.

— Войдем?— предложил Вадим, снова робея и заливаясь краской.— Уж половина пятого: пора и обедать.

Он дрожащей рукой как-то не сразу распахнул легкую дверь, и Лиза увидела тяжелые складки накрахмаленных белых скатертей, возбужденные лица пассажиров, портрет благообразного седого старика в массивной дымчато-золоченой раме — вероятно, Тургенева: пароход носил его имя.

— Входите,— уже совсем неуверенно повторил Вадим. Лиза испуганно захлопала ресницами и отступила назад.

— Что с вами?— спросил Вадим.

— Извините. Мне что-то не по себе. Там столько людей...

— Стоит ли на всех обращать внимание?

— Нет,— решительно заявила Лиза.

У двери с табличкой «Каюта № 33» Лиза остановилась. Она посмотрела Вадиму в глаза и негромко сказала:

— Идите, пообедайте. Только не сердитесь на меня.

И, взявшись за ручку двери, добавила:

— Желаю вам счастливого пути. Мне ведь через два часа сходить.

— Уже сходить? Так быстро?

— Где же быстро?— сказала она и засмеялась.— Трое суток еду!

— А я думал... вы тоже, как и я, до Горького. Не повезло вам: все время была плохая погода...

— Что вы! А я довольна! Я за эти дни свою роль выучила.

— Вы — артистка?

— Не-ет! Я учетчица из леспромхоза. Это я так, от нечего делать в клубный драмкружок хожу. Собралась в отпуск в Саратов к бабушке, а наш худрук поручил мне разучить роль Катерины из «Грозы». А я приехала к себе на родину и забыла обо всем. До этого ли было!

И Лиза опять засмеялась.

— Ой, я совсем заболталась,— спохватилась она и отворила дверь.— Пойду собираться.

— Давайте помогу?

— Нет, что вы!

— Будете сходить на пристань...— Вадим облизал языком запекшиеся губы.— Я приду проводить?

Видимо, он смотрел на Лизу такими глазами, что она сказала:

— Ну, ладно, приходите... Ведь у меня никакого багажа... Но все равно приходите.

Лиза прикрыла за собой дверь, но Вадим не сразу тронулся с места.

Вдруг кто-то взял Вадима за локоть. Сбоку стоял «профессор», чуть пошатываясь на своих коротких ногах.

Он понимающе подмигнул, собираясь что-то сказать, но Вадим, чуть наклонив голову, пошел к себе в каюту. В коридоре первого класса тетя Феня мыла пол. Проходя мимо нее, Вадим нечаянно задел ногой за ведерко с горячей водой. Вода расплескалась, и Вадим, шлепая по луже, побрел дальше в глубь сумрачного коридора, еле освещенного оранжевой лампочкой.

Тетя Феня, бросив тряпицу, выпрямилась, схватилась руками за бока — напоминая своей воинственной позой Тараса Бульбу — и неодобрительно глянула вслед Вадиму.

Но Вадим ничего этого не видел.

Первое, что сделал Вадим, войдя в каюту, это открыл окно. И с какой-то непонятной ему еще пока неприязнью медленно огляделся вокруг.

На столике, около вентилятора, топорщилась засаленная колода карт, на полу под зеркалом, стояли пивные бутылки. Всюду — и на столике, и на бортике дивана-кровати — горстки пепла и окурки, окурки и горстки пепла.

— Культурненько, ничего не скажешь!— проворчал Вадим, усмехаясь. Он привалился спиной к косяку — точь-в-точь как утром — и устало закрыл глаза.

«Непонятное что-то творится с тобой, парень!— с раздражением подумал Вадим.— Обидел тетю Феню, обидел «профессора»... И вообще — ни на что бы глаза не глядели!»

Вадим махнул рукой и, пересиливая что-то в себе, направился к выходу.

На носу парохода, кажется, на том самом месте, где Вадим разговаривал с Лизой, он снова остановился.

Вдоль правобережья все еще по-прежнему тянулись вздыбленные горы, то тут, то там опаленные языкастым бездымным пламенем, солнце с той же добротой обогревало этот тихий осенний мир, но почему-то сейчас Вадиму

уж не хотелось прищелкнуть языком: «Вот это — да!» Почему?

«Есть же люди... Лиза эта тоже, видно, из таких... все-то они замечают: и восходы, и закаты, и прочую красоту. А меня раньше никогда все это не трогало, — подумал Вадим, вздыхая. — Что у меня — глаза другие? Или я урод?»

Он проводил ладонью по гладким перилам сетчатого борта. И вдруг сжал руку в кулак. Крепко сжал.

«Эх, если б мне раньше... если б мне еще в техникуме Лиза эта самая встретилась!» — сказал он про себя и, подняв кулак, изо всей силы стукнул по зашатавшимся перилам.

...Оглашая окрестность протяжным басовитым гудком, «Тургенев» подвалил к небольшому кособокому дебаркадеру, стоящему у лесистого крутого берега.

На пристань сошла одна только Лиза, размахивая легким саквояжем. Молчаливо шедшего за ней Вадима задержал сердитый усатый матрос:

— А ты куда? Мостки убираем!

Вадим прижался к переборке пролета и, задрав вверх голову, смотрел на Лизу, остановившуюся у борта дебаркадера.

Не спуская глаз с улыбчивого лица девушки, он комкал в руках кепку, не в силах вымолвить слова. Он не слышал ни последнего гудка парохода, ни команды: «Отдать кормовую!» Вадим очнулся лишь в тот момент, когда пристань вместе с Лизой стала медленно уходить влево. Он хотел было броситься назад, чтобы в последний — совсем в последний раз — взглянуть на Лизу, но в этот миг девушка сама побежала вслед за отходившим пароходом. Она бежала вдоль борта дебаркадера и кричала:

— Вадим! Я томик Островского забыла в каюте... Слышите, книгу забыла. Пришлите мне по почте.

Вадим сложил рупором руки и тоже закричал:

— Куда? Куда высылать?

Из-под борта парохода вдруг со свистом и скрежетом стали вырываться струи горячего пара, и Лиза растаяла в белесой мгле.

— Лиза, где вы? — опять закричал Вадим. Но уже исчезли в густом удушливом облаке и пристань, и берег. И пароход, казалось, шел по бескрайнему морю, окутанный предательским туманом.

— Лиза! — еще раз в отчаянии прокричал Вадим.

— Ну, что ты разоряешься? — ворчливо сказал серди-

тый усатый матрос, не пустивший его на пристань. Теперь он глядел на Вадима подобрившими глазами.— Никуда твоя Лизавета не пропадет. Тут, в Белом Яре, друг дружку все наперечет знают... Будем обратно возвращаться, сойдешь на берег и разыщешь... Так-то вот, парень!

Когда облако пара растаяло и снова показался лесистый берег с еле приметным теперь дебаркадером, Вадим неистово замахал кепкой. Он махал и махал, как одержимый, будто на пристани его все еще могли видеть,



РЫЖАЯ КАТКА

Я терпеть не мог девчонок. Это честно, без всякого трепана. Некоторые наши мальчишки еще в восьмом стали увиваться вокруг легкомысленного пола. Ну, разные там записочки передавать вертихвосткам, провожать их после школы и прочие там трали-вали подпускать. А я ни-ни. Правда, был один случай, но об этом потом...

Особенно же я возненавидел девчонок минувшей осенью, когда мы в девятый пошли. После одного случая с моим другом Маратом Жеребцовым.

Как сейчас, помню: неделя прошла после занятий, ну, может, полторы, только не больше. Помню: едва кончились уроки, и я первым выскочил из класса, бросился по лестнице вниз сломя голову. Но в раздевалке меня остановил бледный Марат. Оказывается, он тоже сломя голову несясь вслед за мной.

— Завернем ко мне, — сказал Марат многозначительно. — Об одном деле хочу с тобой...

— Ой, Марат, — заторопился я. — Мне позарез надо в магазин лабораторного оборудования. Собираюсь один опыт поставить, а колб нужных нет.

Марат как сцапал меня за рукав, и ни с места.

— Ты мне, Пашка, друг или не друг? — спрашивает.

— Что за смешной вопрос, — отвечаю. — Конечно, друг, и самый...

— Ну, тогда потопали!

И Жеребцов силой потащил меня к парадному.

Вижу — не отвертеться. Одно утешение: жил Марат неподалеку от школы, в Рязанском переулке, сразу за перекидным мостом. Может, думал, освобожусь скоро и еще успею на метро прокатиться в магазин.

Выходим на улицу, а Марат все за руку меня держит, словно милиционер нарушителя порядка.

— Отпусти,— засмеялся я.— Уж теперь не сбегу. Лишь скажи для начала: у тебя что-то стряслось дома? Или...

— Помолчи,— буркнул Марат.— И что у тебя за привычка трещать и трещать, как сорока?

Я чуть обиделся и до самого Маратова дома словечка не проронил.

Жеребцов жил в новом блочном корпусе на пятом этаже. У них такой порядок: сколько бы людей ни пришло — все разуваются. И всем тапочки под нос суют. Как в музее.

Когда мы поравнялись с подъездом, Марат не вошел в дверь, а свернул за угол дома, в глубь двора, где стояли, один к одному, сарайчики хозяйственных жильцов.

— Куда ты?— с недоумением спросил я Марата.

Но он так зашипел на меня, такую свирепую рожу скорчил, что я и язык прикусил. И ни о чем больше не спрашивал. Не раскрыл бы рта даже в том случае, если б Марат внезапно распахнул передо мной врата в космос. Честно, без всякого трепя.

Конечно, ничего подобного не произошло. Просто Марат приблизился к обитой старым железом двери одного из сарайчиков с намалеванной суриком цифрой «37» и отпер ее каким-то самодельным ключом. А чуть приоткрыв, молча кивнул мне: «Лезь, мол».

Я протиснулся в дверь тоже молча. И тотчас остановился на пороге: темь, сырость. А в нос шибануло едуче не то уксусной, не то еще какой-то кислотой. Будто в преисподнюю попал.

Марат толкнул меня в спину:

— Чего вылупился?.. Шагай, тут тигров нет!

Прикрыв за собой дверь, он снова подтолкнул меня в спину. Чуть погодя глаза мои попривыкли к темноте. И я поразился сваленной в сарайчике всякой рухляди. Тут были и поломанные стулья, и прабабушкин сундук, расписанный розами, и никелированная спинка от кровати, и какие-то картонные коробки и железные банки.

— Обожди, я сейчас,— сказал Марат и, крикнув, снял с пропыленного сундука чугунную печурку.

Почему, скажите, пожалуйста, многие люди боятся расставаться с ненужным барахлом? Я где-то недавно читал, будто даже Хемингуэй, богатый и прославленный на весь мир писатель, прятал в кладовке у себя на Кубе изношенные до дыр ботинки и всякую пришедшую в негодность одежду.

Из допотопного сундука, угрожающе заскрежетавшего ржавыми петлями, Марат выволок свой старый туристский рюкзак, непомерно раздувшийся от какой-то поклажи. И бухнул его к моим ногам.

— Зришь?— пробурчал друг, пнув рюкзак носком ботинка.

Я пожал плечами.

— Чего же тут зрить? Не картина же из Третьяковки! Этот твой рюкзак я вместе со своим тащил весной, когда ты ногу в походе вывихнул.

Марат сокрушенно вздохнул.

— До чего же ты непонятливый малый!

Потом посмотрел мне в глаза. Долго так, не мигая.

— Уезжаю я утром, Паш.

Я прямо-таки опешил.

— Как... уезжаешь?

— А так... как все. Сяду на поезд, и — прощай, любимый город!

— А... а школа?

— К черту школу! Надоело! Надоели и всякие физики и алгебры, надоели и каждодневные родительские нотации. Решительно все надоело! Махну в Сибирь. Работать буду. Ручищи-то вон какие! Не пропаду!

У меня подкосились ноги, и я плюхнулся на кадку с мелом, стоявшую позади меня. О том, что в кадке мел, я узнал потом, дома, когда пальтишко собирался на гвоздь повесить.

Марат тоже присел — на рюкзак.

— Пороблю в Сибири и дальше подамся. Из Сибири и Дальний Восток рукой подать. Авось на какое-нибудь торговое судно устроюсь. А там — Индия, Африка, Мадагаскар, Куба...

Марат улыбнулся. Впервые за весь день. До ушей растянулся большой его рот. Я никогда потом не видел на лице Марата такой счастливой улыбки.

— Здорово, Паш?— спросил он.

— Ага, здорово,— потерянно протянул я, наклонив голову.

Признаюсь, я готов был провалиться сквозь землю от стыда. Товарищ, мой друг, уезжает вот в дальнюю-предальнюю сторонущку, а я... я остаюсь. И буду как ни в чем не бывало ходить и ходить изо дня в день в школу, слушать скучные разглагольствования скучных, не любящих свое дело педагогов (чего скрывать: такие учителя теперь встречаются во многих школах) и таскать отяжелевший от учебников и тетрадей рванный свой портфелишко... опостылевший до чертиков портфелишко. Ей-ей, мне было стыдно!

— Родителям я — ни гугу,— наклонившись ко мне, прошептал Марат.— Напишу, когда на стройку или на завод определяюсь. Смотри, Пашка, не проговорись! Чтобы ни одна душа... Даже Тарасику ни словечка! Он друг наш, но — не надо... еще ляпнет нечаянно. С ним такое случилось. Уяснил?

— Уяснил.

Тут же, в сарайчике, мы и попрощались. Как настоящие мужчины: крепко и молча обнявшись.

Соблюдая конспирацию, я первым выскользнул в дверь. И шагал по двору не спеша, с независимым видом. Хотя и еле сдерживал слезы.

Да, грустным и расстроенным возвращался я домой. Почему-то казалось, что отъезжающий Марат увезет с собой кусочек моей души. И еще: я завидовал его решимости, самостоятельности.

Не помню, как в тот вечер готовил уроки. Наверно, с пятого на десятое. Из головы не шел Марат, его походный рюкзак, заманчивая дальняя дорога, необжитые таежные края.

Лег рано, но спал плохо. Всю ночь или улепетывал от разъяренных уссурийских тигров, или продирался через гибельные буреломы, спасаясь от страшного лесного пожара.

Утром, во время завтрака на скорую руку, мама озабоченно спросила:

— Паша, ты не заболел?

— С чего ты взяла?— ответил я, не поднимая от чашки взгляда.

— Ты кричал ночью. Я два раза подходила к твоей раскладушке.

— Ну, мам, ты всегда... всегда что-нибудь придумаешь!

И, покончив с чаем, бросился в коридор одеваться.

В этот день я один сидел за партой. Сидел эдаким одеревенелым остолопом, ничего-то не слыша, ничего-то не видя.

Мысленно был вместе с Маратом: трясся в битком набитом вагоне, неотрывно глядя в окно на мелькавшие мимо незнакомые поселки, багровеющие перелески, голые, в осенней своей неприветливой хмурости, поля. Стук-тук-так, стук-тук-так! — весело переговаривались между собой колеса. Какое им было дело до парня, впервые в жизни решившегося на такой отважный шаг.

На четвертом уроке меня вызвала к доске физичка. Но я ни бельмеса не понял, о чем она меня спрашивала.

— Коврижкин, вы не заболели? — сочувственно спросила Рита Евгеньевна. В отличие от других учителей она всех нас называла на «вы».

Я помотал, точно телок, головой и, когда она сказала «идите», побрел к своей парте.

— Между прочим, вы не знаете, Коврижкин, почему сегодня отсутствует Жеребцов? — спросила учительница, когда я уже сел.

Я снова помотал головой.

— Рита Евгеньевна, Марат вчера жаловался на головную боль, — выкрикнул кто-то из ребят.

В большую перемену ко мне церемонно подплыла рыжая Катька Мелентьева — жутко вредная, самая вредная в классе девчонка. Она, эта Катька, в нашей школе второй год. Мелентьевы приехали в Москву откуда-то с севера. И Катьку еще с прошлой осени невзлюбили все мальчишки. За что, спросите? За ехидство и зазнайство. Кому какое дело, что у нее отец известный хирург, а мать пианистка?

А она, рыжуха, как что — к месту и ни к месту — знай себе козыряет: моя мама в Большом театре работает, а мой папа в институте Склифосовского!

Лупоглазую нахальную Катьку даже многие девчонки презирали.

И вот подплыла ко мне павой эта самая Катька, сощурила свои небесные глазки и запела подковыристо, выпячивая бантиком губы:

— Ка-аврижкин, и как тебе не совестно? Почему ты, Ка-аврижкин, не сказал Рите Евгеньевне всю правду? Ведь кто-кто, а ты доподлинно знаешь, по какой причине не явился в школу твой дружок... э-э... Жеребцов!

Меня так всего и бросило в жар.

Я ненави́дел свою фами́лию, ненави́дел лю́то и терпе́ть не мог, когда меня тыкали носом в этого «Коврижкина!». В классе и Марата и меня все ребята обычно по имени называли. И вдруг — нате вам — какая-то дохлая-предохлая скелетина начинает нахально над тобой издеваться: «Ка-аврижкин да Ка-аврижкин!»

Не знаю даже, как я сдержался и не нагрубил дико Катьке. Наверно, потому, что меня насторожили ее слова. Неужто, Катька откуда-то прослышала про отъезд Марата?

Все во мне бушевало, но я молчал. Стоически молчал. — Не передергивай плечами, будто Гамлет! — все так же ехидно тянула Катька. — Ты пре-атлично знаешь...

Резко повернувшись к рыжухе спиной, я зашагал прочь.

«Уехал, уехал, уехал! — стучали по моим вискам невидимые молоточки. — Главное сейчас — не проговориться! Даже под жестокой пыткой! А когда Марат доберется до места да устроится на работу, вот уж тогда все узнают, какой молоток наш Марат Жеребцов! Из обыкновенного девятого «В»! Ох, и разговоров будет!»

Наутро по дороге в школу я повстречал Тарасика Крюченюка — второго своего закадычного друга, он у нас до смешного низкоросл, но зато плечист и упитан. Вчера мне удалось удрать домой сразу же после занятий, и Тарасик, приславший в конце шестого урока записку: «Нам надо, старик, потолковать», не застал меня в раздевалке.

Увидев меня, Тарасик зыркнул подозрительно туда-сюда и зачастил ворчливо:

— Почему, сатана, не подождал меня вечер после уроков?

Я проводил взглядом прогромыхавший по улице грузовик с кирпичом. И промямлил не очень-то убедительно:

— Торопился. Поручение от матери...

Тарасик, перебивая, заладил уже о другом:

— Слышал, о чем шушукались наши кумушки?

— Девчонки?

— Ну, а кто же еще! Слышал или нет?

Испытующе глянул другу в глаза. Увеличенные стеклами очков, они казались непомерно огромными и растерянно-оторопелыми. Отводя взгляд, спросил с равнодушным видом:

— О чем же толкует сарафанное радио?

— Да о нашем Марате! — с раздражением выпалил Та-

расик.— Все трубят: удрать куда-то собирался, да отец его сцапал, молодчика. Вышмыгнул на рани Марат из сарая в полном походном снаряжении, а отец...

— Браки!— выпалил я.— Браки! И ты... и ты веришь всякой девчачьей брехне?

Почесав переносицу, Тарасик поправил очки с толстыми стеклами.

— Не хотелось бы мне верить всяким байкам, да...

— И не верь!— бодро проговорил я.— Заявимся сейчас в класс, а наш Марат уже за партой красуется. Подлечился и снова гранит знаний собирается грызть!

Нахохлившись, мы до самой школы топали молча. А когда вошли в класс, я от неожиданности чуть портфель из руки не выронил. За нашей партой сидел... Марат Жеребцов!

Да, да, да! Сидел за партой Марат и бестолково перебирал мосластыми ручищами тетрадки, учебники, будто искал чего-то. И никого не замечал, уткнувшись взглядом в парту. Он и меня «не заметил».

Сев рядом с Маратом, я легонько толкнул его локтем в бок, спросил, еле шевеля губами:

— Это правду говорят: отец тебя...

Марат изо всей силы сжал мою руку. И, бледнея, яростно прошептал:

— Помолчи хоть ты, дурак!

Хотел осерчать на Марата, да передумал. Ему, Марату, и так сейчас ой-ей как несладко!

Больше недели не мог я смотреть Марату в глаза. Было стыдно и обидно. Стыдно и обидно и за него, и за себя. Точно нас с ним обокрали.

Педагоги делали вид, словно они ничего не знают о неудавшемся побеге Жеребцова: директор, по-видимому, просил. Он у нас, Алексей Алексеич, мудрый мужик — бывший фронтовик!

Ребята тоже не очень-то приставали к Марату, а вот девчонки... девчонки не давали шагу ступить Марату. Особенно же донимала Марата язвительными насмешками рыжая Катька. Она, эта дохлая скелетина, прямо-таки изводила бедного парня своими колкостями. Встретит, например, утром Марата в гулком коридоре и непременно спросит, поджимая губы:

— Приветик, путешественник! Ты, Жеребцов, медведя не привез из Сибири?

А на переменке, проходя мимо Марата (по-моему, она

нарочно старалась то и дело попадаться ему на глаза), пропоеет этак «ласково», что вся кровь в жилах закипит:

— Ну, как там наши дальневосточные гиганты? Должно быть, план завалили без твоей подмоги?

Поднимет Марат страховитый свой кулачище, да тут я схвачу его за руку. Он и обмякнет.

С неделю, а то и больше шатался за ним тенью, опасаясь, как бы дружище мой не влип в неприятную историю.

А Тарасик Крюченюк, которому тоже надоели каждодневные приставания прилипчивой рыжухи, раз даже огрел ее по спине. Прямо между острыми лопатками.

Казалось: разревется дохлятина, а она и не подумала. Позеленела лишь вся от злости. Да по-змеиному зашипела:

— Ну, и герой же ты... трусливый Карасик! Тебе бы только с девчонками сражаться!

И, вильнув хвостом, убежала.

С этих вот пор я еще сильнее возненавидел девчонок. А рыжую Катьку просто-напросто видеть не мог спокойно. Честно, без всякого трепса.

И она, догадливая хитрюга, стала платить мне тем же. Теперь Катька, оставив в покое притихшего «бунтаря», нудно и зло язвила меня при всяком удобном и неудобном случае.

Плетешься, скажем, от доски между рядами парт, так и не решив трудной задачи, а Катька шепчет «сочувственно»:

— Не вешай носа, Ка-аврижкин! Все гении отвратительно учились!

В другой раз, как-то после сплошной метели, рыжуха преподнесла мне новую пилюлю. Предложил классный руководитель наметить ответственного за сбор класса на предстоящий воскресник по очистке школьной территории от снежного заноса, а она вскочила и кричит:

— Есть предложение: Ка-аврижкина Павла! Он в этом году от всех общественных дел в стороне!

И все девчонки тотчас заорали хором:

— Ка-аврижкина! Ка-аврижкина!

Приветик! Этого еще не хватало. Я-то как раз и собирался увильнуть от предстоящего воскресника, а тут — нате вам! Отвечай за явку всего класса! Волей-неволей придется тащиться на воскресник и махать лопатой.

Катька — та непременно раньше всех заявится. И непременно отыщет себе самую большую лопату. Откровен-

но говоря, я уже давно поражаюсь выносливости этой дохлой с виду скелетины.

В октябре она затеяла туристский поход по родному Подмоскovie. И пятнадцать километров прошагала под дождем от железнодорожной станции до какого-то древнего монастыря, прошагала молча, даже ни разу не пикнув. Другие девчонки ныли, проклиная и морозящий дождь, и грязь по колено, и... и вообще все на свете! Да чего там девчонки. Наш Тарасик Крюченюк через шесть километров хромать принялся, а Севка Уварченко, когда мы дошлепали до бросового пастушьего шалашика, наотрез отказался продолжать поход. Катька же... а Катьке хоть бы что! Протопав пятнадцать километров, она как ни в чем не бывало отправилась в рощу собирать хворост для костра. Одна. Потому что все мы обезножели и повалились спать. (Спасибо одному столетнему деду, пустившему нас к себе в жарко натопленную избу.)

И так эта Катька ни в чем не дает маху. Если начинается кампания по сбору утиля — она первая заводила. И даже больше мальчишек притащит всяких железок или разного бумажного хлама.

К весне у меня вдруг ни с того, ни с сего стали пробиваться усы. Я прямо-таки растерялся. Да и стыдно как-то. Ни у кого из ребят усов нет, только у меня. Этого еще не хватало! Думал, может, никто не заметит, а рыжая препротивная Катька первой узрела. И раз перед самым уроком, когда весь класс был в сборе, вдруг захихикала:

— Девочки! Х-ха-ха-ха! Посмотрите на Ка-аврижкина! Х-ха-ха-ха! Усы у Ка-аврижкина растут!

И, уже обращаясь ко мне, подковырнула:

— А бороду, Ка-аврижкин, ты будешь отпускать?

Я так рассвирепел, так рассвирепел, что поклялся: не я буду, если не отколочу рыжую кривляку! Как это я раньше не догадался проучить Катьку?

Вечером, после занятий легкоатлетического кружка, я побежал в библиотеку. Наточка, симпатичная девочка, прошлой весной окончившая библиотечный техникум, обещала мне оставить интереснейший фолиант: «Боги, гробницы, ученые».

Библиотека помещалась в старом, купеческих времен, особняке с колоннами и портиками и замогильно-холодным, даже в летний зной, коридором, пропахшим с прошлого столетия нафталином и камфарой.

Наточка сдержала слово. Принимая от нее книгу, я по-

старался приятно улыбнуться. Не знаю только, не выглядел ли я при этом идиотом. Дело все в том, что я почему-то совсем не умею нормально улыбаться. Честно, без трепана.

— Мерси, — кивнул я как можно галантнее заалевшей Наточке. И окончательно сконфузившись, бросился вон из библиотеки.

Выбегаю, словно ошпаренный кипятком, в мрачный и сырой коридорище с разъединственной пропыленной лампочкой у потолка, а навстречу мне — вот судьба-то! — рыжая Катька.

Я цап ее за руку и в угол, за дверь потащил.

— Тебе что от меня надо, Ка-аврижкин? — запищала рыжая.

— Отношеньица надо выяснить, — ухмыльнулся я, представляя себе, какую сейчас отбивную сделаю из Катьки.

— Пусти! Слышишь, убери руки! — еще более возмущенно затрезвонила девчонка.

— Зачем зря психуешь? — ворковал я, по-прежнему толкая Катьку в угол. — Может, я тебя, красотка, чмокнуть в губки хочу?

И тут... я не сразу даже сообразил, что тут произошло. Внезапно вырвавшись из моих рук, рыжуха ка-ак дерболизнет претяжелейшим своим портфелем меня по кумполу! Так дерболизнула, что я и с копыт долой!

— А если еще когда полезешь, упырь болотный, отмолочу похлеще!

Это Катька мне сказала и — была такова.

Схватил я шапку и на улицу драпать, пока люди не видели, как меня девчонка с ног сшибла.

Да-а, историйка... Теперь уж я совсем перестал замечать рыжую Катьку. словно бы она совершенно не существовала на свете!

А она, Катька, после происшествия в библиотеке, принялась зачем-то приукрашиваться и принаряжаться. Да так, что всему классу в глаза стало бросаться. Даже мои друзья — совершеннейшие пентюхи — Марат и Тарасик и то заметили. Один я ничего не знал.

Уж февраль катился под откос, когда однажды в выходной, под вечер, прибежал ко мне запыхавшийся Тарасик Крюченюк. (Он, между прочим, всегда куда-то спешил, точно за ним стая волков гналась.) Ну, вот, влетел в квартиру Тарасик и, размахивая ушапкой, будто митинговать собрался, заорал на весь коридор, да так, что чуть ли не

всех соседей перепугал (а у нас в квартире восемь семей):

— Пашка, балда, где ты там?

Выскочил я из своей комнаты — Тарасику Мйшук Самарцев из шестой открыл дверь, любопытный пустряк, и рот Крюченюку ладонью прихлопнул.

— Чего буянишь? У нас в квартире пятьдесят процентов склеротиков!

Протер Тарасик платком запотевшие очки. И, загадочно подмигнув, подтащил меня к ванной комнате. Зашептал:

— Мне только что Лерка сказала... учти, под большим секретом! Сказала: рыжая Катька... хи-хи-ха-ха! Страхуля эта по самые уши в тебя втрескалась. Честное комсомольское!

Я так и отшатнулся от пыхтевшего, как закипающий самовар, Тарасика.

— Иди ты! Сплетни разные собираешь!

— И ничуть не сплетни.— Тарасик присанился, надул розовые пороссячьи щеки.— Катька сама... понимаешь: са-ама Лерке призналась. А Лерка не трепло девка!

— Это и видно: подхватила с лета чей-то треп и давай звонить!.. Раздевайся, чай будем пить с кексом. Мама в честь выходного кекс купила.

Тарасик закрутил головой.

— Не... Тороплюсь на шахматный турнир.

И ушел.

На другой день я несколько раз украдкой косился в сторону Катькиной парты. И, представьте себе, никаких особых перемен не заметил ни в ее непривлекательной внешности, ни в ее наряде. Разве что рыжие свои космы малость так подстригла да на модную кофту заграничный значок нацепила.

Уже к вечеру я снова забыл о Катьке. И, как прежде, обходил ее стороной.

Дня через четыре наступила мировецкая оттепель. Ну, апрель, да и нате вам! С крыш ухались обледенелые глыбы, под ногами лужи, а с неба — крупа. Густущая эта крупка, подгоняемая ветром, полосовала землю до обеда.

Наша тройца в этот день сбежала с последнего урока. Не любили мы все трое ни биологию, ни плаксивую биогичку к ней в придачу.

Выскочили из школы, а кругом белым-бело. Даже глаза резало от ликующей, непривычной в городе, белизны.

Глупыши первоклассники лепили снежную бабу.

— Робя!— воскликнул долговязый Марат, обнимая за плечи меня и Тарасика.— Робя! В котелке вашего приятеля засветилась сверхгениальная идея. Хотите, обнародую?

— Валяй!— мотнул головой Крюченюк.

Окинув нас озорным взглядом, Марат изрек:

— Поступило предложение: взобраться на крышу Тарасикова дома. И забросать девчонок снежками. Эх, и визг поднимется на всю Москву!

Наша школа стояла во дворе большого восьмиэтажного дома, в котором жил Крюченюк. Не раз и не два мы и раньше лазали на головокружительную верхотуру. Оттуда до чего же захватывающий вид открывался! И все три вокзала как на ладони, и высотное здание у Красных ворот, и гостиница «Ленинград». А церквушек всяких! Особенно в мае любил я сидеть на коньке крыши Тарасикова дома, нагретой жарким солнцем. Но вот сейчас... сейчас что-то не тянуло на эту высь.

— Давайте в другой раз. А?— сказал я.— А сейчас двинем-ка в кино. «Пусть говорят»... такой, говорят, фильмище!

Но меня не поддержали.

— Завтра, Пашка, сбегает в кино,— сказал Тарасик.— А теперь и вправду маханем-ка на крышу! Эх, и весело будет!

Не стал я больше возражать.

Поднялись на старом скрипучем лифте на восьмой этаж, сложили в угол портфели и — на чердак. (В Тарасиковом доме почему-то чердачные двери никогда не запираются.)

В слуховое окно вылезли на крышу: первым Марат, за ним Тарасик, а я замыкающим.

Было холодно и скользко. Снег осел, а кое-где вдоль карниза уже образовалась ноздреватая корочка.

Марат, сгорая от нетерпения, скомкал плотный, увесистый снежок и запустил его в проходивших внизу ребят. Но промахнулся.

Снежок шлепнулся впереди мальчишек. Брызнув враспыльную, они азартно загорланили:

— А ну, еще! А ну, еще!

— Да ему слабо попасть! Кишка тонка!

Марат скатал новый снежок. И опять запустил в пацанят. Да так здорово, что одному пострелу малахай с головы сбил,

Тут уж и Тарасик принялся за дело.

Но я не бросал снежки в ребятишек, ждал, когда девчонки из школы высыплют. Приготовленные же «снаряды» складывал про запас рядом с собой.

Сидел я на подоконнике слухового окна, метрах в трех от края крыши. Почему-то в этом месте было сломано ограждение. Погнутое звено из железных прутьев валялось в стороне, полузанесенное снегом. Лишь толстая стойка-труба, к которой была прикреплена решетка, торчала у края крыши.

В первые минуты немного страшновато было: думалось, поскользнись нечаянно, и... поминай как тебя звали! Это точно: вскрикнуть не успеешь, как скатишься вниз. Мне даже хотелось пройти чуть подальше от опасного места, ближе к ребятам, да сиделось тут удобно. К тому же и снегу вдоволь. И я остался.

Наверно, десятка два скатал снежков, когда из школы шумливой гурьбой выбежали наши девчата. Отсюда, с высоты, занятно смотреть на них: точно диковинные цветы неожиданно расцвели на снегу.

— Полундра, мужики! — бросил клич Марат.

И мы все трое дружно принялись бомбардировать девчонок нашими «гранатами».

Мне везло как никогда. Каждый раз прямое попадание! Тарасик и Марат не отставали от меня. Они тоже здорово поражали «противника». И среди девчачьей армии поднялась паника: визг, крик, отступление.

Чтобы удобнее было бросать снежки, я встал во весь рост, держа запасные «снаряды» в карманах. И только собрался запустить в отступающих вертихвосток последний — самый тяжелый — снежок, как внезапно поскользнулся и грохнулся на спину. И тотчас поехал вниз.

Не помню, как я догадался повернуться на живот, не помню, и как успел схватиться руками за железный стержень, оставшийся от сломанного ограждения. Одна нога моя свисала с крыши, второй же я случайно зацепился за невысокий бортик, протянувшийся у самого карниза.

Слабонервные девчонки внизу истошно вопили, призывая кого-то на помощь. Но мне не до раздирающих душу воплей было.

Чуть опаматовавшись от испуга, я осторожно приподнял голову, надеясь, что сейчас кто-то из ребят протянет мне руку. И тогда я, соблюдая всяческие предосторожно-

сти, начну полегоньку карабкаться вверх от гибельного места.

Но моих друзей словно ветром сдуло с крыши. Ни Тарасика, ни Марата... Не веря своим глазам, я еще раз огляделся вокруг. И взмолился, прося помощи:

— Ребята... ребята же!

Почему-то мне все еще казалось, что Марат и Тарасик, думая, будто я их разыгрываю, спрятались за фонарем слухового окна.

— Ребята, ну... ну, где вы там?

Никакого ответа.

На мгновение я закрыл глаза. По щекам катились слезы... Наконец, собравшись с последними силами, я попытался подтянуться на руках, держась за холодный железный стержень. Но — безуспешно. Правая нога, которой я зацепился за бортик крыши, едва не сорвалась вниз. И уж тогда бы...

«Что же теперь со мной будет?» — спросил я себя. Силы мои были на исходе. Руки немели и коченели. Порой я их совсем не чувствовал.

Не знаю, сколько еще пронеслось секунд, когда неожиданно в черном проеме слухового окна показалась растрепанная голова рыжей Катьки.

В первый миг я подумал: начинаются галлюцинации. Но бледное Катькино лицо с кровоточащей царапиной на скуле не пропало даже после того, как я поморгал ресницами.

— Крепче держись, Пашка, за шнур, — сказала тут Катька, выныривая на крышу. И сказала совершенно нормальным голосом, нисколько не похожим на загробный голос привидения. — Один конец я привязала за косяк, а второй тебе. Я подтягивать буду.

И она бросила мне вдвое сложенный бельевой шнур — крученный, похожий на веревку.

— А сама ты... не зазвенишь вместе со мной? — спросил я Катьку, почему-то сейчас уж ничему не удивляясь. (Значительно позже Катька мне призналась, что в тот миг, когда я заговорил, вернее захрипел, она жутко перетрусила.)

Улыбаясь — откуда у нее нашлось столько мужества? — Катька спокойно и в то же время властно командовала:

— Берись, давай... сначала одной рукой. Просунь руку в петлю... вот так. Ну, и подтягивайся. Еще! Еще! А теперь и второй рукой берись за шнур.

Я послушно делал все, что мне велела Катька. Вначале правой рукой ухватился за шнур. А переведя дух, чуть-чуть подтянулся вверх. В это время и Катька, не отходя от слухового окна, потащила к себе шнур. Чуть же погодя, почувствовав себя увереннее, я и другой рукой схватился за веревку... Теперь уж и левая моя нога была на крыше. Отдышавшись, я встал на колени и, не выпуская из рук шнура, пополз к слуховому окну.

Вероятно, и жалкий же был видик у меня!

Когда мы с Катькой очутились на чердаке, она поправила шапку у меня на голове, вытерла платком мое лицо. И подула мне на лиловые руки.

Так мы простояли с ней молча друг перед другом... не знаю уж сколько времени. Может, минуту, а может, год? Не знаю.

Катькино дыхание, согревавшее мои лапы, возвращало мне жизнь, силы, бодрость.

Я готов был простоять так, не шевелясь, целую вечность, но Катька почему-то вдруг заторопилась, прошептав у моего уха:

— Пойдем отсюда... чтобы ни с кем не встречаться. А то вот-вот разные спасатели нагрянут. Я проведу тебя к другому подъезду. Тарасиков чердак я немного знаю.

И, крепко взяв меня за руку, Катька повела, ровно слепого, по сумеречному чердаку куда-то в сторону от слухового окна.

Выбравшись с чердака в соседний подъезд, Катька вызвала лифт. Кабина была внизу. И пока старая калоша поднималась на восьмой этаж, Катька прочла мне стихи. Читала тихо, как бы ощупью пробиралась через незнакомый лес. И все время глядела себе под ноги:

Наступила весна.
Стучит звонко капель.
А недавно — вчера —
Был мороз — двадцать семь.
Ярко лужи блестят
На дороге вон дальней.
Только ты все сидишь,
И сидишь-то печальный.
Ты сидишь над письмом
И о чем-то грустишь.
Позабудь это все
И в окно посмотри.
Минут годы большие,
Будет снова весна.
Только эта весна...

Тут и поднялся на этаж, скрипя и надсадно охая, лифт. И мы поехали вниз.

— Ну, а дальше? — напомнил я Катьке.

Она отмахнулась.

Мне хотелось спросить, чьи это стихи, но я почему-то постеснялся. Спросил о другом:

— Откуда у тебя царапина на лице?

Катка засмеялась.

— Кто-то из вас, ухарей, снежком по скуле бацнул.

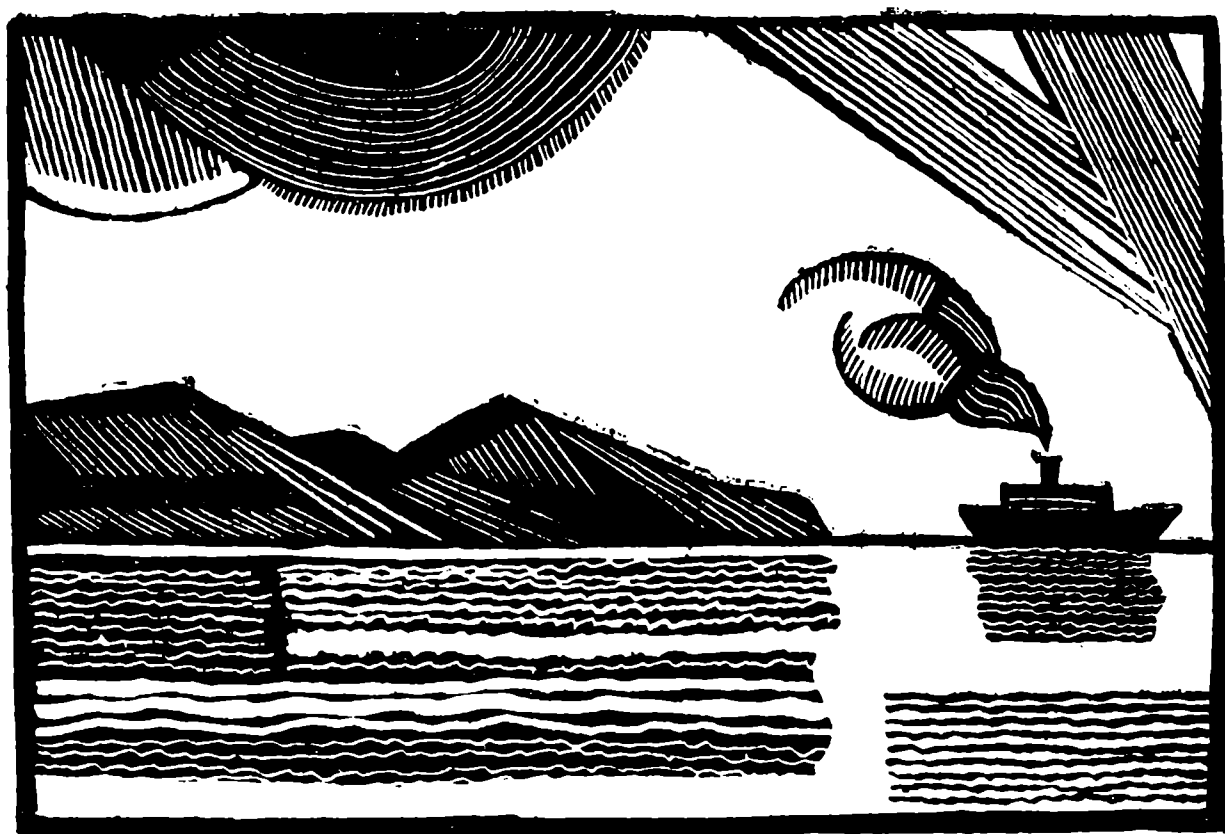
— А шнур... где ты шнур подцепила?

— Господи, ну, к чему тебе все знать?.. Бельишко висело на веревке, ну, я... Жаль, забыли шнур на крыше. Какая-то тетечка проклянет теперь меня.

И Катка снова засмеялась.

Выйдя из подъезда во двор, огляделись по сторонам. Ни одной живой души. И мы бегом бросились на улицу.

А на шумной Басманной с бешено несущимися к вокзалам машинами, не сговариваясь, взяли за руки и медленно-медленно побрели в сторону Садового кольца — еще более шумного, еще более людного. Так просто, без всякой цели.



ЕРАЛАШНАЯ ПОРА

Весел грохот вешних бурь!

И. Бунин

С утра было тихо. И чуть ли не по-летнему жарко.

Половодье солнечного света — поразительно чистое, пока еще не затуманенное полдненным маревом, как бы сливалось с буйным разливом Волги.

Весь мир, казалось, это море света и голубеющая стихия воды, усыпанная мириадами весело приплясывающих искр.

Но после обеда погода стала портиться прямо-таки на глазах. С Жигулей потянуло знобящей свежестью, а на небе, недавно еще сияющем ничем не запятнанной бирюзой, уже появилась пара пухлых облачков — с виду таких безобидных.

— К ночи жди ненастья, — мрачно сказал Лукьяныч, колхозный пастух, долговязый детина неопределенного возраста.

Он стоял у самой воды, затоплявшей и этот приречный ложок. Не обращая внимания на ластившееся у его ног солнце, чуть колыхавшееся на ленивой волне, Лукьяныч смотрел вприщур на пепельно-лиловые вдали горы.

Мой попутчик инженер Березин, раньше всех занявший место на корме в лодке, возразил Лукьянычу:

— Ну, что вы! Какое там ненастье... слабый ветришко, да и тот к вечеру стихнет,

— Разненастится! Даже и шторм может завернуть. Я по приметам сужу,— упрямо гнул свое Лукьяныч, ни на кого не глядя.

В лодку он полез вслед за мной. Вставляя в уключины весла, бросил через плечо:

— Митяй, толкни-ка нас!

Сидевший в соседней лодке паренек лет тринадцати отложил удочку, спрыгнул на берег. И солидно, вразвалочку направился в нашу сторону.

Так же солидно, не спеша, он уперся плечом в нос нашей лодки и, крикнув, столкнул ее с отмели.

Кунья Воложка, приток Волги, к осени обычно всегда мелела, и ее вброд переходили козы. Но сейчас, в половодье, она расхлестнулась на километры, сливаясь с озерами на островах. Напористое течение подмывало, грызло левый песчаный берег, такой не в меру податливый. Сельские банешки, стоявшие на краю обрыва, в любой час могли ухнуться в речку.

Мы медленно плыли мимо зеленеющих невинно островков, радующих глаз первой травкой, мимо стоявших в воде осип и ветел, зачарованных хмельным разливом, мимо кустов краснотала, гнувшихся под напором бурлящих струй.

Где-то на гриве крякала, надрываясь, утка. А когда лодка проплывала вблизи высокой старой березы, над нашими головами вдруг застучал дробно дятел.

Становилось заметно прохладнее. С острова Большака, отделявшего Кунью Воложку от коренной Волги, ветер доносил колдовские запахи. Пахло и последним снежком, истекающим слезой в потайных волчьих яминах, и клейкими почками, пустившими зеленоватенький дымок, и, само собой, лиловыми колокольцами — нашим первым весенним цветком.

Лодка пристала к узкой полоске земли, заваленной ворохами прошлогодней листвы.

— Шагайте по тропе до поляны,— сказал Лукьяныч, когда мы с инженером выпрыгнули на берег. За время нашего плаванья, борясь с течением, он не проронил ни словечка.— На поляне увидите две дороги. Так свертывайте на ту, на ту свертывайте, которая влево подается. Ну, и по ней до осокорей без сумления. А от осокорей опять же тропинка потянется. Вы по ней, по тропинке-то, и мотайте. Она к Волге выведет. К посту бакенщика Терентьича. Он вас и пересунет через Волгу в горы.

Мы вскинули на плечи рюкзаки, попрощались с Лукьянычем и зашагали навстречу маячившим вдали легкомысленно веселым березкам.

В двух шагах от нас плескалось огромное водяное поле с черными и рыжими точками — не затопленными еще бугорками полусгнившими пнями. На самом ближнем острове бугре торчал ивовый куст, на котором сидела, нахохлившись, ворона, зорко следя за проплывавшей мимо крысой.

Вся правая низменная часть острова находилась под водой. И если б на острове не росли деревья, то с нашей гривы мы непременно увидели бы могучую Волгу — не Волгу, а бурлящую морскую стихию!

— Раньше, знаете ли, я не замечал природы. Она совершенно не трогала меня, — заговорил вдруг инженер, добродушно ухмыляясь. На его слегка продолговатом, словно бы измятом лице одна за другой разгладились морщины, и сразу стало видно, что человек этот далеко еще не стар. — За год до конца войны приехал я сюда на нефтепромысел, — продолжал Березин. — И что вы скажете? Тут-то вот и стал полнее ощущать жизнь. Прежде мне на Волге не приходилось бывать. Я на Украине жил. А обосновался в этих местах — и будто родился здесь... Волга, Жигули... да что тут толковать! Вы меня понимаете.

Инженер замолчал. Сколько-то там минут мы шли молча. Но вот он нагнулся, бережно сорвал лиловатый подснежник, спрятавшийся под кустиком бересклета.

— Гляньте-ка... чудо весны! — снова заулыбался Березин. — Какие краски, какая...

Неожиданно сконфузившись, он отвернулся.

— Мальчишкой, помню, сколько у нас их тут было! Прямо из-под снега тянулись к небу подснежники, — сказал я, сам не зная к чему.

Инженер промолчал.

Чуть погода мы вышли на просторную поляну с горячими на диво пятнами света.

— Вот и дороги, — проговорил я. — Признаться, что-то нетвердо помню, по какой из них советовал идти Лукьяныч.

— Кажется, по той, что влево тянется, — ответил, помешкав, Березин.

— А не по той, которая вправо?

— Ну, пойдете по этой, — покладисто согласился

инженер.— В конце концов мы так и так выйдем к Волге!

И мы свернули на заброшенную давным-давно дорогу, убегавшую неторопливо вправо к не одетому еще перелеску.

Ветер все набирал и набирал силу. Он теперь дул с гор, прямо нам в лицо — сырой и холодный. А по всему небу уже паслись белые облака-коровы с дымчатыми пятнами на раздутых боках.

— Пожалуй, старик не зря пророчил, — обронил Березин, застегивая на все пуговицы плащ. — Как бы к ночи того... дождя не подуло. Нам поторапливаться надо.

Прибавили шагу. Под ногами шуршала и шуршала рыжевато-бурая полуистлевшая листва — мертвая, никого теперь не радующая. То тут, то там, блеснув чистой бирюзой, гасли лужицы в колеях дороги.

С куста бузины, подпустив нас совсем близко к себе, сорвалась сойка. Расправив свои яркие крылья, она плавно пропарила совсем низко над землей и бесшумно опустилась где-то в березнячке по ту сторону дороги.

Мы прошли, наверно, около трех километров, когда осокори и осины внезапно кончились и перед нами открылись залитые полой водой луга.

— Вам это нравится? — спросил Березин как можно добродушнее. Сняв кепку, он старательно вытер платком испарину с высокого мучнистого лба.

Мне стало неловко. И тут я отчетливо припомнил все, что говорил нам перед расставанием Лукьяныч.

— А если повернуть влево и пробираться вот так... напрямки? — не совсем уверенно высказал я свое предложение.

Рывком нахлобучив на голову старую кепку, инженер посмотрел себе под ноги.

— Не пройдем. Припоминаю это место. Прошлым летом рыбачил здесь как-то. Тут неподалеку от дороги — озеро. Оно поперек острова тянется... Придется назад вернуться.

Всю обратную дорогу до поляны никто из нас не промолвил ни словечка.

Солнце в последний раз косо глянуло на землю, пронзая острым золоченым кинжалом сизовато-вишневые кустарники, коренастенькие дубки с набухшими, но еще не лопнувшими почками, и скрылось. Скрылось за тяжелыми, уже набрякшими недоброй синевой тучами.

— Объявляю перекур! — сказал решительно Березин,

когда мы снова очутились на широкой поляне.— Осколком снаряда был ранен в правую ногу в конце сорок третьего. Несколько месяцев даже ходить не мог. А теперь... а теперь, как чуть натружу,— ныть начинает.

Инженер присел на пенек с покатым срезом, похожий на пчелиные соты — так он был весь издырявлен муравьями. А я опустился рядом на травянистую кочку, спиной к ветру. По острову уже разносилось протяжное завывание... Эта тоскливая «песня» не веселила душу.

Видимо, и Березину было не по себе. Он зябко ежил-ся, морщил лоб. Так мы просидели молча с четверть часа, а может, чуть больше. Потом снова тронулись в путь.

Совсем уже стемнело, когда наконец-то вышли к Волге — усталые, продрогшие. Прогреть до самых печенок.

Река глухо роптала. Бурно плескались о крутой глинистый берег маслянисто-черные волны.

На том, гористом, берегу, совсем не различимом в крошечной мгле, светились белые и красные огоньки нефтепромысла — беспокойные, колюче-острые.

Накрапывал дождь. И где-то далеко-далеко за Жигулевскими отрогами уже ярилась гроза. Раскатов грома здесь пока не было слышно, но прокопченный сажей небосвод то и дело пронзали раскаленные пики — размашисто, наотмашь.

О переправе через Волгу не приходилось и думать. Надо было позаботиться о ночлеге. Где-то поблизости — по моему предположению — стоял домик бакенщика. Но в какую сторону идти на его поиски, когда в двух шагах ничего не видно?

И вдруг совсем рядом затявкала собака. Березин первым тронулся с места.

— Глаза берегите, тут кусты,— немного погодя предупредил он. Под его сапогами трещали сучья.

А минуток пяток спустя мы уже сидели в сторожке бакенщика.

— Я вашу личность сразу признал,— обращаясь ко мне, говорил хозяин сторожки — бородатый мужчина в полушубке.— Весны три назад вы у меня на бакене гостевали со старшиной нашенским. Я тогда, если не запамятовали, на другом посту стоял. Насупротив Усолья.

— Как же, помню,— сказал я.— А вы, Терентьич, не стареете!

Бакенщик махнул рукой.

— Не, голова, не тот уж стал. Всю зиму канючил, думал, не поднимусь.

— Ну, а сын? Вернулся?

— Осенью,— не сразу ответил Терентьич.— Даже при медалях, между прочим.

— А вы что же... как бы вроде не рады сыну? — вмешался тут в разговор Березин. И улыбнулся, чтобы не обидеть хозяина.

Вытянув из кармана шубняка кисет, бакенщик принялся крутить сигарку из газетной полоски. Вздохнув, сказал немного погодя:

— Какой же родитель не будет рад своему дитю? Разве кто с каменным сердцем!.. Пять лет не видел сына. Сколько тут вот пережито — никто не знает.

При этих словах Терентьич приложил к груди большую, сильную свою руку.

— Одно утешение на старость и осталось — сын. Вернется, кумекал, мой Васятка, вместе на бакене робить станем. Он за старшого, а я у него в помощниках... Как-никак, а скоро мне на пенсию.

Помолчал, пуская к растрескавшемуся потолку густущие струйки прозеленевшего дыма. И, разводя руками, закончил:

— А вернулся по осени сынок, и не то получилось. Другой поворот в жизни вышел.

И вдруг, как бы вспомнив какое-то неотложное дело, бакенщик встал и направился к двери, бормоча себе под нос:

— Экая ноне пора ералашная!

Когда Терентьич вернулся в сторожку с ведерком, наполненным до краев живой, бьющейся рыбой, я не стал заводить разговора о его сыне.

Через какие-нибудь полчаса уха уже была готова, и бакенщик пригласил нас к столу.

— Ешьте без сомнения. В нашей Волге много рыбы,— говорил Терентьич, ставя на стол алюминиевые миски.— Всякой пока хватает.

В окно хлестал дождь. Хлестал без перерыва уже второй час. Гулкий ветер завывал на чердаке, сотрясал стены. Еще миг-другой, думалось, и крошечный этот скворечник свалится под яр...

Бакенщик разбудил нас в несусветную рань.

— Солнышко восходит, пора подниматься,— сказал он, разглаживая бороду.

Собирались проворно, по-военному.

Присмирившая Волга в это раннее утро выглядела сурово и сумрачно. Видно, не отвела она еще свою душеньку — не набуянилась досыта в канувшую ночь.

По взбаламученной, беспокойной воде несло вниз бревна, валежины и всякий мусор.

В Жигулевских горах, нечетко выделявшихся на сыровато-линялом небосводе, кое-где в отрогах снежными глыбами притаился туман.

Чем ближе подплывала наша лодка к правому берегу, тем явственнее доносилось до нас монотонное урчание не смолкающих ни на минуту бурильных станков, сердитое шипение пара.

От поселка по укатанной дороге вдоль гор неслись один за другим грузовики с рабочими вахтами.

Легкий ветерок доносил из оврага запахи нефти и расцветающей черемухи.

У самого берега на мокром пористом валуне сидел голубоглазый парень в парусиновой спецовке. Тяжелые землистого цвета руки его покоились на коленях.

Когда лодка ткнулась носом в гальку, парень поднялся и, улыбаясь во все лицо — молодое, смуглое, направился к нам.

— Ты почему не приезжал? В субботу тебя ждал, — ворчливо проговорил бакенщик, из-под принасупленных бровей строго оглядывая ясноглазого парня.

— Сменщик прихворнул... пришлось две вахты отмахать, — мягко, примирительно ответил парень, все так же широко улыбаясь.

Тут он за руку поздоровался с инженером, молодцевато спрыгнувшим на каменистый берег.

Терентьич поднял со дна лодки корзину. Сказал:

— Держи-ка. Уху с ребятами сварись. Живая.

И, повернувшись ко мне, все так же ворчливо прибавил:

— Сын. Побрезговал отцовским делом заниматься. Теперь в нефти пачкается.

— А ты, отец, перестал бы серчать, — весело блестя глазами, усмехнулся здоровяк-парень. — Пора уж и позабыть старое.

Березин шагнул к бакенщику. И, опустив на его плечо руку, спросил живо:

— Василий — ваш сын?.. Вот не знал!

Терентьич улыбнулся. Улыбнулся впервые со вчерашнего вечера.

А инженер продолжал:

— На такого молодца — честно говорю — грешно сердиться. Ей-ей, грешно!

Попрощавшись с Терентьичем и его сыном, мы пошли в гору.

— Этот парень — Василий Сорокин, пришел к нам на промысел осенью, — негромко говорил Березин, на каждом шагу задевая меня плечом. — Пришел и сразу: «Хочу на такую работу, чтобы нефть добывать». — «А вы знакомы с этим делом? — спрашиваю. — Профессия бурильщика сложна и тяжела». Смотрю — у парня лицо так все и загорелось: «Я не из пугливых. На войне всякое было». Направил его на буровую. А через месяц мастер заявляет: «Спасибочко, Виталий Макарыч, дельного парня прислал. Побольше бы нам таких».

Перед тем как войти в коптору участка, я оглянулся назад.

Отец и сын стояли возле лодки и разговаривали. Мирно разговаривали.

Просматривая как-то недавно газеты, я наткнулся на сообщение о награждении орденами и медалями большой группы нефтяников. Среди награжденных были и мои давнишние знакомые.

Начальнику одного из крупнейших в стране трестов Березину было присвоено звание Героя Социалистического Труда, а передовой мастер бурильщик Василий Сорокин награжден орденом Ленина.

Комкая от радости газету, я вдруг и припомнил ту ералашную весну — теперь такого уж далекого сорок шестого...

СОДЕРЖАНИЕ

Баламут (повесть)	5
Дашура (повесть)	81
Рассказы	
Смерть деда Прокофия	141
Сирота	145
В лесу	153
Плохая погода	157
Рыжая Катька	168
Ералашная пора	184

Виктор Иванович Баныкин

БАЛАМУТ

Редактор Ю. С. Новиков
Художник А. Е. Цветков
Художественный редактор Э. А. Розен
Технический редактор Н. Е. Боярская
Корректор Л. П. Королева

Сдано в набор 11/IX-70 г. Подп. к печ. 21/I-71 г. Формат бум. 84×108¹/₃₂. Физ. п. л. 6,0. Усл. п. л. 10,08. Уч.-изд. л. 10,11. Изд. инд. ЛХ-546. А06513. Тираж 50 000 экз. Цена 31 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия», Москва, проезд Сапунова, дом 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25.
Заказ № 1625.

34 коп.

20
244
178

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ